ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА

Сидони Боннек

ДЕВУШКА ДЛЯ УСЛУГ



Дьявольски страшная «тайна закрытой комнаты».
Version Femina

18+

Девушка для услуг
Сидони Боннек

Аннотация
Сидони Боннек. Девушка для услуг
Благодарности

Аннотация

В частной резиденции в лондонском пригороде все выглядит идеальным. За гигантскими воротами прячутся пять роскошных особняков, в которых живут богатые, благополучные и благовоспитанные семьи с детьми и «девушками для услуг», нанятыми за рубежом и хлопочущими по хозяйству. Вчерашняя школьница Эммилу бежит сюда из захолустного городка в Бретани, устроившись такой вот работницей, – присматривать за детьми, прибираться в доме, учить английский, готовиться на журфак, узнавать жизнь. И первое время ей кажется, что она попала в рай.

Но от райских кущ отчетливо несет адской серой. Неотвязная, постоянная усталость, страшные сны, зловещие шепоты, приглушенные ночные молитвы, болезнь старшего ребенка, о которой никто не поминает ни словом… Эммилу постоянно под надзором, отрезана от мира, ей запрещено выходить за ворота, и постепенно она погружается в бездну неотступной паранойи. Что происходит?

Чего хотят эти богатые и благовоспитанные люди? И как от них сбежать?

Сидони Боннек, французская журналистка, радио- и телеведущая, дебютировала с завораживающим психологическим триллером о том, как поиски лучшей доли порой заводят невинные души в преисподнюю, и о том, что «бесправный» не значит «беспомощный». И знаете, что самое страшное? Эта история вдохновлена реальными событиями.

Впервые на русском!

Сидони Боннек
Девушка для услуг

Sidonie Bonnec
LA FILLE AU PAIR
Copyrigh © Éditions Albin Michel — Paris, 2025
Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

Перевод с французского Ирины Волевич и Юлии Рац

© И. Я. Волевич, перевод, 2026
© Ю. М. Рац, перевод, 2026
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026 Издательство Азбука®

* * *

Моргане – ты знаешь за что.
Подонкам – они знают за что.

Я стою в пустоте. Как персонаж из мультика, который, начав падать с утеса и не сразу это заметив, продолжает перебирать ногами в воздухе.
Я уже заметил.
А теперь начинаю падать.
***Ричард Матесон. Где-то во времени*[1]**

[1] Сноски: 1

«Где-то во времени» («Bid Time Return», также «Somewhere in Time», 1975) — фантастический роман Ричарда Матесона о путешествиях во времени, перевод И. Иванченко. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Окружающее пространство кажется бескрайним, бесформенным, однако я чувствую, что заперта. И судорожно цепляюсь за стенки, боясь падения в пустоту. Пальцы служат мне антеннами, они ощупывают, обшаривают — они смелей, чем я. Потому что в какой-то момент мне хочется исчезнуть, перестать быть собой; я готова отречься от всего на свете — так жестоко меня терзает страх; готова покорно принять все, закрыть глаза на то, что́ я знаю, что увидела, что поняла. Я буду послушной — бедной послушной девочкой, без привязанностей, без будущего, — мною можно вертеть как угодно. Тьма — отличный экран, и я проецирую на него безумный фильм этих последних месяцев. Мой мозг готов взорваться от воспоминаний, переживаний, ощущений, сомнений — он мгновенно обрабатывает их и выбрасывает все это наружу беспорядочными кадрами. Я пытаюсь собрать мысли воедино, но не понимаю, где я. Голова раскалывается от боли. Мне хочется так вот и стоять, прижавшись к стене, к этой ледяной бетонной стене, до тех пор пока меня не найдут и не успокоят; я буду умницей, клянусь вам! — только выведите меня на свет божий! Я сумею притвориться, что все у меня в полном порядке!

Мои глаза никак не могут привыкнуть к темноте, к этому вязкому и влажному мраку. Я шарю вокруг себя, как слепая, задыхаясь от вони старья, дерева, мочи, воска, свечных огарков.

И все же одно я знаю точно — знаю, что все изменилось.

Отрываю руки от стены и вслепую, осторожными шажками продвигаюсь вперед, безумно боясь упасть, боясь причинить себе боль, боясь испугаться всерьез. Мне чудится, что я иду великанскими шагами, но на самом деле одолеваю всего несколько сантиметров. Внезапно мои протянутые руки на что-то натыкаются, и пальцы охватывает судорожная дрожь. Это чья-то кожа. И конечно, две эти кожи узнают одна другую. Та, чужая, — холодная и какая-то рыхлая. Где-то в глубине моего горла рождается крик, он вырывается наружу — хриплый, безумный… Но *та* кожа не реагирует.

Прежде. Плуэрнек[2], понедельник, 12 февраля 1996 года

Небо — тусклое, серое — изливает все свое содержимое на учеников, бегущих между желе-

---

[2] Сноски: 2

Плуэрнек — коммуна в округе Кемпер (Бретань).

зобетонными ногами огромного паука — лицея имени Шатобриана. Мы с Морганой вихрем вылетаем наружу, чтобы успеть на наш автобус, прибывающий в 18:12; следующий подойдет только в 18:55, и ждать его нет никакого желания. Что тут делать, в этом Пемполе, в феврале месяце, когда городок уже окутывает тьма, наш лицеишко заперт, а в кафе на углу полно всякой пьяни? Ровным счетом ничего, уверяю вас. Лучше уж ехать домой.

Нда, раз уж тебе выпало родиться в Плуэрнеке (месте, которое и городом-то не назовешь и которое ты ненавидишь), ты все-таки не хочешь бередить себе душу и называешь его городом, не поселком. А куда деваться — нужно довольствоваться тем, что есть. Мы успеваем вовремя; автобус заглатывает своих пассажиров, а потом выплевывает, одного за другим или целыми гроздьями, на дорогу, бегущую вдоль скалы. Моргана прилипла к окну — это ее любимое место — и натягивает рукава своего черного акрилового свитера на пальцы, чтобы скрыть царапины. У нее длинные, темные, кудрявые волосы и прямой носик — эдакая грустная принцесса; везет же некоторым родиться такими хорошенькими! Я на этот счет могу не переживать: на меня

никто не смотрит, да и смотреть-то не на что: белобрысая, бесцветная, волосы патлами, нос крючком. Разглядываю других наших школьниц: интересно, на что они надеются? Все как одна уродины — толстые, неуклюжие, в мешковатых блузах, скособоченные под своими тяжеленными ранцами.

Наш лицей — это сто пудов обещаний: математика — для блестящей карьеры инженера; латынь — для поступления в Эколь Нормаль[3]; история с географией — для завидного удела журналиста. Но если вдуматься, разве кто из нас в это верит? Как бы не так — потому что завтра, когда ты проснешься, будет все то же самое и дорога поведет тебя в обратную сторону. Подъем в шесть двадцать утра, автобус в семь, и ты выходишь из дома, прилепившегося к соседним, одна-одинешенька, с этим распроклятым ранцем, сулящим «успех в жизни». Ты даже не успеваешь доесть свои гренки; на улице темень, холод собачий, и никто тебя не провожает: родители ушли на работу еще раньше.

Ты думаешь, у них есть время попивать жас-

[3] Сноски: 3

Эколь Нормаль (*École normale supérieure*, Высшая нормальная школа) — одно из самых престижных учебных заведений Франции, готовящее преподавателей.

миновый чай, почитывая утреннюю прессу? Нет, куда там: они уже вовсю вкалывают в устричных садках и им плевать на твои дерзкие подростковые мечты… Если бы ты могла взглянуть на все это сверху, то увидела бы десятки зомби, которые выходят из своих убогих бараков, шагают в одинаковом ритме, свесив руки, втянув головы в воротники курток, где еще сохранилось немного тепла, шаткой поступью недоспавших людей, и все они топают к остановке автобуса «Мельница Крака», чье «р» кто-то замазал шутки ради, чтобы позабавить туристов, но только не молодежь Плуэрнека, ибо «Мельница Крака» — это наш исконный памятник, последняя ветряная мельница на северном побережье Бретани, которая до сих пор исправно перемалывает здешнее зерно в муку, — это тебе о чем-нибудь говорит? Она стоит на прибрежной скале вот уже два века, — пожалуй, это единственное, что у нас тут работает усердно и безотказно. Даже если она, как и мы, никогда не воспаряла в небеса.

Моргана слушает мои едкие рассуждения, изредка вставляя: «Эммилу…» — и нервно почесывая тыльную сторону руки. У нее две сестры и два брата. И она, как и я, не больно-то переживает за свою семью. Слишком много там детей, долгов,

работы и всего прочего, а родителей почитай что и нет. Ее папаша рыбачит в Северной Атлантике, на шхуне, — это такой адский труд, что не обрадуешься; а мамаша сидит за кассой в магазинчике самообслуживания: там теплее и покупатели сорок раз на дню говорят ей «бонжур» и «мерси», но работенка та еще! Ну а что касается времени, его нет ни в ее семье, ни в моей. На филологии мы все это изучаем — понятие времени и прочие важные вопросы, с ним связанные: например, в какой степени время принадлежит нам? Или: в каком смысле можно сказать, что человек существует не только в настоящем? И что такое время — служит ли оно каким-то ограничением для человека? И кто оно нам — враг или союзник? Но кому охота ставить перед собой такие вопросы? И уж тем более на них отвечать…

У нас дома на все один ответ: мне некогда! И каждый раз я прямо задыхаюсь от злости, ору на родителей и на младшую сестренку Маэль. А Моргана — та наоборот: не спорит, молчит, замыкается. И причиняет себе боль — до крови расцарапывает ногтями левой руки тыльную сторону правой. Это она не нарочно: такая у нее болезнь. Я прикрываю ладонью эту злосчастную руку и чуть-чуть сжимаю ее, чтобы она почув-

ствовала тепло и чтобы эти царапины зажили. Мы с Морганой не родные — мы больше чем родные, потому что осознанно выбрали друг дружку. И тогда она вынимает свой «Уокмен», надевает наушники и слушает Жан-Жака Гольдмана[4] — ее любовь, идола ее жизни: «Я пойду за своей мечтой к горизонту моей мечты…»[5] Лично я предпочитаю *мечтать* по-английски: «But I still haven't found what I'm looking for…»[6] — вот мое бегство от действительности, мое будущее. Мы с Морганой поклялись друг дружке вырваться из нашей здешней помойки и удрать куда-нибудь подальше, как можно дальше от этих мрачных скал, многокилометровых унылых ланд[7] и домишек, сложенных из розового гранита, потемневшего от вечной непогоды.

---

[4] Сноски: 4

Жан-Жак Гольдман (р. 1951) — французский поп-рок-музыкант, автор-исполнитель и музыкальный продюсер, одна из самых популярных фигур на французской поп-рок-сцене.

[5] Сноски: 5

Цитируется песня Жан-Жака Гольдмана «Au bout de mes rêves» с его альбома «Jean-Jacques Goldman» (1982).

[6] Сноски: 6

«Но я все еще не нашел того, что ищу…» *(англ.)* — цитата из одноименной песни, хита ирландской рок-группы *U2* с их альбома «The Joshua Tree» (1987).

[7] Сноски: 7

Ланда — песчаная равнина на юго-западе Франции.

Потому что здесь даже розовый гранит выглядит грязно-серым.

Запах сигариллы щекочет мне ноздри. Я притворяюсь, что мне это приятно, но на самом деле нахожу его противным. Хотелось бы купить сигареты, какие курят парни вокруг, но они слишком дорогие, вот и приходится смолить эти тонкие сигаретки, подаренные папе его хозяином. У нас дома не курят; коробка выставлена на комоде «для красоты» и больше ни для чего. Иногда поздно вечером, когда все уже спят, я вытаскиваю из нее одну такую сигарку, сжимаю ее губами, открываю окно в своей комнате и смотрю в ночь. Закуривать не спешу — долго верчу в руках кремневую зажигалку, найденную в ящике комода матери (вот уж где настоящая помойка!). Щелкаю зажигалкой несколько раз, чтобы придать себе важности, продлить удовольствие. Выпускаю дым изо рта; табак крепковат, голова слегка кружится. Выкашливаю дым в черный ночной воздух и рассказываю себе всякие истории. Вот я блестящая парижская адвокатша и обсуждаю свое последнее дело с моим коллегой. Время позднее, офис опустел, и мы с ним курим, попивая виски, чтобы расслабиться. А иногда я представляю себя писательницей, ведущей поздние вечерние беседы с героями своих книг. И еще мне нравится воображать себя журналисткой, которая гото-

вится к интервью где-нибудь в колумбийской Медельине, делая записи в блокноте, истрепанном от долгих поездок, и покуривая у стойки бара своего отеля с сомнительной репутацией.

Но сегодня вечером я никто и звать меня никак, прямо выть хочется от тоски. Однако мне запрещено звонить Моргане. «Вы слишком долго болтаете, — говорит мать, — сплошное разорение! Я не для того вкалываю, чтоб вы могли чесать языки». Именно так и выражается. И не понимает, как мне это больно. Ей-то говорить не с кем, а вот нам с Морганой позарез нужно выговориться, излить душу, успокоить друг дружку, помечтать вслух — это прямо как бальзам на сердце. Мой гнев бьется о стены каморки под крышей. В нашем убогом доме я чувствую себя крошечной, беспомощной, жалкой. И стыжусь нашего квартала, куда власти решили согнать самых бедных жителей города, — этого гетто с четко обозначенными границами, в которое уже не допускают новых обитателей. Я здесь просто задыхаюсь.

К счастью, у меня есть книжки. Десятки «карманных изданий» — правда, довольно потрепанных; я подбираю их возле домов на морском берегу. Отдыхающие всегда забывают или вы-

брасывают такие; а когда мне нужно что-нибудь определенное, я иду на субботний рынок, к торговцам дешевыми изданиями, по франку за штуку, их там полным-полно. Меня это возбуждает даже больше, чем покупка какого-нибудь нового пуловера. На моих полках целая мешанина из самых разных книжек: Золя мирно соседствует с Бретом Истоном Эллисом, Мопассан щедро делится местом с Реймондом Карвером. Вот она — моя утеха, моя радость! Ладно, хорош смолить. Я давлю окурок сигариллы о подоконник (и без того грязный): пора закончить просмотр заданий моего «бака» по истории[8]. Может, завтрашний день будет поинтереснее. Мечтать никогда не вредно.

[8] Сноски: 8

«Бак» (*фр.* baccalauréat) — степень бакалавра после успешного окончания средней школы.

«Противостояние великих держав на мировой арене начиная с 1945 года». Вот уже три часа, как мы потеем над этим сюжетом на письменном экзамене по истории. Головы склоняются над партами, руки подпирают лбы, глаза бегло встречаются с другими глазами, в классе царят усталость и отчаяние. У меня осталось меньше часа, чтобы закончить сочинение. Тема не такая уж захватывающая, но я стараюсь вовсю. Чтобы стать журналисткой, знание истории необходимо — так мне сказал наш проф. Вдруг открывается дверь, входит директор школы и что-то шепчет на ухо преподавателю; тот покорно кивает, оглядывает класс, подходит ко мне, шепотом велит забрать свои вещи и идти за директором. Я ничего не понимаю, ни о чем не думаю, делаю, что мне велят. Шагаю по длинному безмолвному коридору, задевая плечом десятки пальто, вяло свисающих с крючков на стенах. Слышу только четкие, размеренные шаги директора, звучащие на ноте «ля», а потом свои — пытающиеся попасть им в такт.

Войдя в свой кабинет, директор каким-то странным тоном объявляет, что я должна выйти во двор, там кое-кто хочет со мной поговорить. Больше он ничего не может мне сказать, это не

его дело. Я бегу вниз по лестнице, считая ступеньки, чтобы не потерять равновесие, не потерять голову; пересекаю двор с тремя облысевшими деревцами, изображающими лесок.

У решетчатой ограды вижу мужской силуэт, — похоже, это отец Морганы. Сейчас десять минут двенадцатого — что ему тут понадобилось? Моя подруга сегодня не пришла на остановку автобуса; я решила, что она приболела, с ней такое иногда случается. Отворяю правую калитку, она жутко тяжелая и влажная, у меня на руке даже след отпечатался.

— Привет, Жерар.

У него какое-то странное лицо — так он выглядит в выходные дни, когда не плавает на своей шхуне. Он подходит ко мне, и я слышу: «С Морганой…» Сейчас его голос не похож ни на зычный моряцкий, ни на отцовский, да и сам он выглядит как призрак. Потом повторяет:

— С Морганой несчастье… Покончила с собой…

Я не понимаю эту фразу. Хотя слышала такие слова по телику, читала в романах — в общем, знала во всех видах, во всех временах. И внезапно падаю в обморок.

Ненавижу эту песню. А ведь я раньше так ее любила. Помню тот день, когда Моргана открыла ее для меня: стоял жуткий холод, мы сидели на кровати в ее комнате, закутавшись в пестрый плед (полиэстер 100 %). Она вставила кассету в плеер и нахлобучила на меня наушники. И вот, сквозь еле различимую, прерывистую мелодию, я услышала эти душераздирающие слова: «Раз ты уходишь…»[9] Это история о человеке, которого нельзя удержать, чье сердце бьется уже где-то далеко. О человеке, с которым не хотят расставаться, но чью руку все-таки нужно отпустить. Эти слова Жан-Жака Гольдмана — когда ты слушаешь их вместе с подругой — пронимают тебя насквозь, и все-таки это просто песня, рассказ об уходе того, кого ты знать не знаешь, история, которая волнует, но не касается лично тебя, — вот что хорошо, когда речь идет о чужом несчастье. Но если оно настигает тебя, эта мелодия — будто нож в сердце. Некоторые песни сочинять нельзя, или уж по крайней мере их нельзя слушать. Вот эта — я точно знаю — теперь будет ранить мою душу до конца жизни…

Гроб стоит в центральном нефе церкви. На его

---

[9] Сноски: 9

Песня Жан-Жака Гольдмана «Puisque tu pars» с его альбома «Entre gris clair et gris foncé» (1988).

новенькой полированной крышке — фотография в рамке, лицо моей лучшей подруги. Улыбающееся. Я думаю: «В какой же это день она так улыбалась?..» Наверно, была счастлива в тот момент; а может, представляла, какая прекрасная жизнь ждет ее в будущем; или же любила того, кто ее снимал; или просто потому, что на фотках полагается улыбаться. Меня одолевает тошнота. Как же она неуместна — эта улыбка; как здесь все отвратительно! Если бы ей сказали: «Это фото поставят на твой гроб; оно станет твоим последним снимком, твоей последней улыбкой, обращенной ко всем этим лицам, распухшим от слез, ко всем близким, пришедшим на эту прощальную службу, на твою *погребальную церемонию*, как это называют взрослые...» Мне никак не удается связать воедино этот ящик и лицо Морганы, пока я стою между ее родителями и друзьями, а кюре вещает скороговоркой о другой, загробной жизни, призывая нас радоваться «началу жизни вечной»...

Не понимаю, почему там, на улице, хорошая погода, тогда как здесь, внутри, все залито слезами. Неделю назад Моргана выбросилась из окна своего дома, с шестого этажа, без крыльев, и рухнула на бетон, рядом с детишками, играв-

шими на улице. Она не оставила прощального письма — одну только пустоту, которую я теперь заполняю вопросами. Почему она решила умереть, почему не поделилась со мной? Чего ей не хватало? Неужели ей не хватало меня?

На этих вопросах и под эту музыку, от которой мне хочется сдохнуть, гроб выносят и опускают в землю, рядом с другими мертвецами, рядом с другим горем. Потом родители Морганы приглашают нас в церемониальный зал Плуэрнека. Обстановка странная. Несколько разноцветных воздушных шариков, белые картонные подносы с печеньем, кувшины с апельсиновым соком и прозрачные пластиковые тарелки. Так бывает на праздниках по случаю первого причастия или десятилетия ребенка. На одном из столов стоит фотография Морганы; я смотрю на нее и мысленно спрашиваю: «Ну и как мне теперь выпутываться одной, без тебя?»

Чудной какой-то получился вечер… Сижу, скрючившись в продавленном кресле, в обществе пяти самых близких подружек Морганы — все они примостились на старом вытертом диване перед камином, и от его жара горят щеки. Здесь уютно, спокойно, взрослых нет, одни только мы; выпиваем и беседуем вполголоса, мирно, никому ничего не доказывая. Это все происходит в доме Виржини — подружки Морганы. Ей не то чтоб сильно хотелось приглашать нас, просто она единственная, кто чувствует себя вольготно в родном доме. Я с ней не очень-то близко знакома. Прежде мы никогда не разговаривали — мне даже казалось, что она меня игнорирует, когда я встречала ее с Морганой. Но сегодня вечером все иначе — нас сплотило несчастье. Виржини предлагает каким-нибудь двум девчонкам из нашей компании заночевать у нее — слишком уж тяжело остаться в одиночестве при такой скорби, и никто больше не может понять ее горе, кроме нас. Я не очень-то общительна, но ввиду таких обстоятельств соглашаюсь. Мои родители слишком устают от работы, чтобы утешать меня. И я говорю:

— А твои предки не будут против?

— Мои предки? — с усмешкой переспрашивает

она. — А они-то тут при чем? Мой папаша сбежал от нас три года назад — просто в один прекрасный день не вернулся с работы, и ищи-свищи! Да и мать дома редко: она портниха, но ее заработков не хватает на жратву и квартплату, и по ночам она убирается в помещениях «Фимапеш», в промышленной зоне. Так что я сама себе хозяйка, у меня только одна забота — присматривать за близнецами. Они сейчас уже заснули, им по восемь лет; мои предки их не ждали, но все же были довольны: одним махом родили двоих… Только не шумите, когда пойдете в мою комнату, — они спят рядом, за стенкой.

Ее комнатушка еще меньше моей — это крошечная мансарда, но деревянные стены хорошо держат тепло, и двуспальная кровать сейчас очень даже кстати. Мы укладываемся в нее все втроем. Перина приятно греет, и наша печаль слегка унимается. Мы вспоминаем самые веселые минуты, проведенные с Морганой, даже хохочем как ненормальные. Я расслабляюсь и, глядя на звезды, мерцающие за окнами фирмы «Velux», откровенно рассказываю, как мы с Морганой мечтали о другой жизни, обсуждали, куда бы нам уехать, чтобы вырваться отсюда. Вот это нас и сдружило — мы без конца прикидывали, как

найти решение, не требующее денег. Представляли себе, как будем работать там и сям, чтобы оплачивать учебу и комнату, которую снимем на двоих. В общем, строили планы на будущее… и вот теперь передо мной бездна.

Виржини тоже рассказывает о себе. Перед тем как начать учиться на курсах косметики, ей удалось попутешествовать; она бросила занятия в конце первого семестра, не пожелав даже получить «бак». Ее папаша сбежал из семьи, мать то и дело впадала в буйство, и Виржини взяла да и свалила в Англию, где прожила целый год.

— Вау, в Англию?!

— Ага, в Лондон.

— Ты жила в самом Лондоне?!

Мы слушаем с восхищением. И с завистью.

— Ну и что ж ты делала в Лондоне?

— Работала кем-то вроде воспитательницы, можно сказать за стол и жилье, в семье крутых богачей. Присматривала за их двумя детьми, занималась хозяйством, но свободного времени у меня было навалом. Знаете, как это здорово — жить у людей, которые имеют шикарный дом с красивым садом и водят знакомство только с такими же богатеями из высшего общества!

— Ну еще бы — такая перемена! Лондон — это

вам не Плуэрнек!

Она прямо убила меня своим рассказом, я ей смертельно завидую.

— И дорого ты платила за все это? — спрашиваю я.

— Да нет же, ничего я не платила. Просто жила у них и работала.

Вторую девчонку, Одиль, ее рассказ ничуть не колышет: заграница — это же так далеко. Зато у меня множество вопросов:

— И они с тобой разговаривали только по-английски?

— Ну ясное дело.

Я думаю: вот он — наилучший способ бесплатно освоить английский и попытаться пройти по конкурсу на журфак. Тамошние профессора строго требуют владения иностранным языком, а мой школьный «инглиш» на нулевом уровне. И главное, я на много месяцев расстанусь с родителями, супер!

Наутро за завтраком мы все напоминаем зомби, не помнящих, как здесь очутились. Благотворное воздействие ночи мечтаний бесследно исчезло, уступив место реальности и нашим бледным физиономиям. И я решаюсь, зная, что мне больше терять нечего. Прошу Виржини связать меня с той

английской семьей. Похоже, ей такое не очень-то по душе, она хотела бы числиться единственной героиней этой истории, но я настаиваю, умоляю. Мне позарез нужно работать, нужно сбежать из дому. Наконец она сдается:

— Ладно, если тебе правда интересно, я дам их адрес, но ничего не обещаю — они люди особенные.

А мне плевать, я уже решилась.

«Евростар», понедельник, 26 августа 1996 года

Поезд «Евростар», идущий по дну моря, — это для меня уже целое приключение. Я покидаю свой город и свою семью, чувствуя легкую ностальгию по дому, от которой слегка ноет сердце, привычную пустоту, терзающую мою душу вот уже много месяцев, и неотвязную, невыразимую скорбь. Никогда еще я не ощущала себя такой одинокой. Эту тетрадь я взяла с собой, чтобы записывать в ней все происходящее, утешаться, осмысливать свою жизнь. Смотрю на других пассажиров и пытаюсь угадать: они-то куда едут? От чего бегут и что надеются обрести там, впереди? Мне нравится этот перегон между моим родным городом и тем, который я выбрала, потому что

это хороший способ «сменить кожу», оставить позади бедную, озлобленную девчонку, которая ненавидит всех вокруг. Вот удобный случай преобразиться, найти свое другое «я».

Встречные пейзажи на полной скорости пересекают мое лицо, отраженное в оконном стекле; скоро поезд ворвется в туннель. Ненавижу смотреть на себя; ненавижу, когда другие видят, что я смотрю на себя; ненавижу, когда они видят, *как* я смотрю на себя; ненавижу тех, кто воображает, что я могу любоваться собой; но тут, в поезде, где никто меня не знает, я успеваю вдоволь «насладиться» своей внешностью. Вижу свои светлые волосы, вяло спадающие на плечи, нос с горбинкой, как у матери, пухлые губы, как у отца, голубые глаза — бог знает от кого. В общем, вполне банальная внешность. «Потрясно!» — говорю я себе. Я могу быть кем угодно.

Лондон, в тот же день

«Ягуар» плавно скользит в сторону богатого района Хай-Барнет на севере Лондона. Мягкий свет, характерный только для конца лета, проникает сквозь листву раскидистых деревьев по обеим сторонам шоссе и ласкает глаз. Я блаженствую на удобном пассажирском сиденье,

поглаживаю его белую кожаную обивку — прохладную, успокаивающую. Здесь все ново для меня. Мои ладони впитывают эту роскошь. Меня переполняет радостное возбуждение. Я буду учить английский в богатой семье, чтобы потом, вернувшись во Францию, пройти по конкурсу на журфак и навсегда расстаться со своим семейством. Превосходный план!

Дорога, ведущая к дому моих хозяев, выглядит странно: асфальтовое шоссе и лес по бокам. Тротуара нет. Просто длинная, извилистая автомобильная трасса. Пешеходов не видно — либо их здесь и не бывало никогда, либо вымерли, все разом. Машина мчит вперед, и чем дальше, тем реже нам встречаются другие автомобили, такие же роскошные. Весь этот спектакль — для меня одной. У выхода из метро меня ждал отец семейства. Я сильно опасалась нашей встречи — мне никогда еще не доводилось видеть богачей, так что было страшновато. Как с ними положено здороваться, что говорить? Я боялась, что меня начнут разглядывать, насмехаться надо мной. За несколько недель до отъезда я получила от своих будущих хозяев их семейное фото, чтобы я смогла заочно познакомиться с ними и узнать при встрече. Они были сняты на пляже, на

фоне лазурного моря, всей семьей — красивые, прекрасно одетые, хорошо причесанные, улыбающиеся, безупречные.

Они тоже смогли познакомиться с моей внешностью: я послала им свою фотку до того, как получить согласие на приезд. Виржини предупредила, что, насколько она их знает, они наверняка проведут тщательный фотокастинг, чтобы выбрать наилучшую кандидатуру. И я потратила уйму времени, выбирая из своих снимков самый удачный, который помог бы мне продаться этим людям как можно выгодней, хотя, конечно, понимала, что им нужна не моя внешность, а усердная, сообразительная помощница, которая будет заниматься двумя их детьми во второй половине дня, работая и няней, и служанкой. Однако эти фотки ничего не говорили о моих способностях. В результате я решила послать им снимок, тоже сделанный у моря, где я сижу на скамейке около пляжа Плуэрнека. Помнится, перед съемкой я навела красоту, намазалась и все такое, потому что это был день рождения Морганы. Только она одна вызывала у меня желание выглядеть женственной.

Я дожидалась отца семейства в толпе, скопившейся у входа в лондонское метро. Высматривала мужчину-брюнета, высоченного, голубоглазого, с бледным лицом и приветливой улыбкой… если он будет в хорошем настроении. И вот он явился, подошел и сразу же мне понравился. Еще до того как назвать себя, он приподнял мой кошмарный пузатый чемодан и со смехом спросил:

— Вы что, привезли с собой свою бабушку?

Я как-то по-дурацки ухмыльнулась, а он протянул мне руку со словами:

– *I'm James, nice to meet you*[10].

— Я тоже рада *meet you*, — пролепетала я, и весь мой страх вмиг испарился, вот только над своим английским мне еще предстояло хорошенько потрудиться…

Джеймс Уайт словоохотлив: он рассказывает мне, что работает адвокатом. Нынче утром он был в суде и разбирал совершенно невероятное дело: подробности он пока сообщать не вправе, но скоро я смогу все прочесть в «Таймс».

— Вы знаете такую газету? Это лондонская ежедневная газета, публикующая новости. Хотя вы наверняка о ней слышали, — добавляет он, —

---

[10] Сноски: 10

Меня зовут Джеймс, рад с вами познакомиться *(англ.)*.

ведь вы же будущая известная журналистка!

Вот она — непринужденность богатеев! Деньги облегчают им общение и позволяют снизойти до самых простых людей. Увы, я даже не представляю, что такого интересного могла бы ему рассказать, а потому сижу и слушаю.

Чувствую под своими ладонями белую лайковую кожу сиденья. До сих пор я ездила только на родительской развалюхе, купленной по случаю. И, сидя сзади, неизменно чувствовала под пальцами грубую серую вельветовую обивку. Эта дерюга вызывала желание сбежать куда подальше от нашей убогой жизни и одновременно безжалостно напоминала о том, что я была и буду здесь всегда, что именно таков мой удел и потребуется немалая храбрость, чтобы вырваться отсюда.

Вдоль шоссе, в просветах между раскидистыми деревьями, я замечаю виллы и пытаюсь разглядеть получше силуэты людей, уловить какое-то движение. Но все скрывает густая растительность. Предвижу, что дом «моей» семьи скрывается за такой же роскошной завесой. Рассмотреть ничего нельзя, можно только догадываться. В общем, самое оно, чтобы наслаждаться покоем и тихо завидовать.

Отец семейства сбавляет скорость, поворачива-

ет направо. Добро пожаловать в «Хидден-Гроув»! Перед нами возникает красная кирпичная стена высотой в несколько метров. Это похоже на крепость — в жизни такого не видела. Огромные черные створки решетчатых ворот раздвигаются медленно, словно хвалясь своей монументальностью. И притом совершенно беззвучно. Я даже не понимаю, каким образом они открылись. За воротами вижу пять строений; это особняки, тоже кирпичные, — они расположены вокруг центральной площадки, засаженной высокими тонкими деревцами. Прежде всего меня поражают машины: по две перед каждым домом — двухместный автомобиль-купе и джип. Здесь все безупречно и так красиво, что чудится, будто я попала в рай, да еще и надежно защищенный от внешнего мира.

На пороге одного из домов стоит женщина лет тридцати, очень элегантная, с густыми, темными, слегка вьющимися волосами. Вот именно такой я всегда представляла себе богатую, уверенную в себе даму — непременно с пышной, лоснящейся шевелюрой. За ней появляется мальчик, опирающийся на костыль. Я узнаю их старшего сына Льюиса, ему десять лет. Правда, на фото он был без костыля. Он держит за руку младшего брата — двухлетнего Саймона; у малыша заплетаются ножки — видно, только недавно начал ходить. Дети, как и их родители, темноволосые красавцы, одетые безупречно, в тщательно отглаженные джинсы и рубашки. Они приветливо машут ручками, и их губы шевелятся, произнося слова, которых я не слышу и не понимаю. Я еще не вышла из машины, и пока эта новая жизнь для меня — что немой фильм.

Внезапно мои пальцы судорожно вцепляются в белую кожу переднего сиденья; передо мной вихрем проносятся образы последних месяцев, а душевный подъем и радость сменяются паникой и головокружением. И еще страхом оказаться не на высоте, который, впрочем, тут же сменяется злостью на себя. Выпрямившись, я улыбаюсь и принимаю гордый вид: я уже забыла свой гнев

и свою бедность. Стала совершенно новым существом.

Начинаю жизнь с нуля.

Отец семейства выходит из машины, огибает ее и наклоняется, чтобы открыть дверцу с моей стороны — шикарная услуга! Мой страх мигом улегся. Я вхожу в свое новое существование, и его звуковое оформление звучит радостно: «Good evening! Welcome! Hello!»[11] Низкий, спокойный голос матери семейства сливается с приветливыми, высокими голосами детей. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся, киваем — чуточку смущенно, с беспричинным смехом. Я представляюсь:

– *I am Emmylou, nice to meet you*[12].

Сколько раз я твердила эту фразу, чтобы не выглядеть перед ними дурочкой. И в глубине души горжусь собой: я быстро усвою все нужное и буду хорошей помощницей. Моя первая работа…

Перед тем как войти в дом, мне предлагают осмотреть его снаружи: погода мягкая, нужно этим воспользоваться. Льюис двигается медленно, волочит ногу. Гипса я не вижу — может, он просто повредил лодыжку? У него серьезное лицо

---

[11] Сноски: 11

«Добрый вечер! Добро пожаловать! Привет!» *(англ.)*

[12] Сноски: 12

Я Эммилу, приятно познакомиться *(англ.)*.

ребенка, старающегося не упасть. Ах ты боже мой! Как подумаю, что этот дом будет украшать мою жизнь целый год!.. Внушительное строение с двумя широченными окнами-глазами, расположенными одно над другим, и я тут же узнаю новые английские слова: оказывается, это эркерные *bow windows*. За домом находится сад с деревьями всех размеров. Там же — детский игровой домик, качели и горка.

– *You like it?*[13] — спрашивает меня Моника.

Я усмехаюсь про себя: «Нет, я предпочитаю свою жалкую промозглую лачугу». Ну еще бы, это же великолепно! В дом можно попасть через открытую застекленную дверь гостиной, но хозяева непременно хотят впустить меня через главный вход. И я понимаю почему: холл гигантский, он поражает воображение. Мы с моим чемоданишком выглядим здесь лилипутами. Лестница в центре холла восходит к небу наподобие волшебного бобового стебля Джека[14], залита светом и ведет на два этажа вверх. Я никогда не видела,

---

[13] Сноски: 13
Вам нравится? *(англ.)*

[14] Сноски: 14
Имеется в виду английская народная сказка «Джек и бобовый стебель» о храбром мальчике, который из волшебных бобов выращивает стебель до неба, залезает по нему в дом к великану-людоеду, крадет у него разные ценности, а потом его убивает.

чтобы в доме было столько дверей. Хозяева отворяют их одну за другой: гостиная, столовая, кухня, нижний холл. Сплошной простор и белый цвет. Моника указывает мне на одну из дверей, которую не открывает.

— Это кабинет моего мужа, сюда никому нет доступа, даже мне! — говорит она, многозначительно подмигнув.

Выглядит Моника прелестно.

Наконец мы подходим к монументальной лестнице. Джеймс помогает Льюису устроиться на сиденье, прикрепленном к перилам, нажимает на кнопку и смотрит, как его сын едет на второй этаж. Теперь я понимаю, что дело не в случайной травме, — видимо, у мальчика какой-то врожденный физический порок. И удивляюсь про себя: почему мне об этом не сообщили? Значит, он калека. Осматриваю обе детские — каждая размером с гостиную (она же столовая) у моих родителей; у меня прямо глаза разбегаются: всюду игры, плюшевые зверюшки, платяные шкафы. Эти малыши живут в сказочной роскоши, избалованы ею. На третьем, последнем этаже — «гнездышко» их родителей, предел изысканности; я вижу широкую кровать, красиво отделанную ванную, гардеробную — все велико-

лепно, как в *IKEA*.

– *And this is your bedroom!*[15]

Дверь открывается, за ней совсем маленькая комнатка с окошком, выходящим в сад. Вот так началась моя новая жизнь.

[15] Сноски: 15
А здесь ваша спальня! *(англ.)*

Вынимаю вещи из чемодана и раскладываю их на полках в своей комнате. Основная, самая весомая часть моего багажа — книги. Уезжая на десять месяцев, я была вынуждена выбирать, и это оказалось нелегко; в конечном счете я взяла с собой три романа Брета Истона Эллиса (этот тип — настоящий псих, хорошая отдушина, в самый раз для моей ярости), две книжки Джея Макинерни[16] (с сумасшедшинкой, но все-таки гламурные и не без остроумия), четыре — Стивена Кинга (крутой писатель, спец по отражению реальной действительности, переходящей в кошмар) и сборник Ричарда Матесона (вот уж кто знает толк в увлекательной фантастике). Плюс три английских тома по истории и политическим наукам и в довершение всего карманный двуязычный словарь «Robert & Collins» (тысяча двести шестьдесят страниц имен собственных и нарицательных, на папиросной бумаге). Буду заниматься как проклятая — я твердо решила победить. А здесь для этого идеальная обстановка.

— Эммилу! К столу!

Мне чудится, что я маленькая девочка, — более

[16] Сноски: 16

Джей Макинерни (р. 1955) — американский писатель, журналист и сценарист; как и Брет Истон Эллис — член так называемой литературной *Brat Pack*, группы молодых и лишенных предрассудков литераторов.

того, девочка из богатой семьи. Приятное ощущение! Спускаюсь ужинать. В столовой семью ждет большой деревянный стол с прямыми ножками. Стены затянуты бежевой гобеленовой тканью и увешаны большими картинами с сельскими сценками; сиденья стульев обиты пушистой белой материей. Белый цвет — явно любимый цвет богачей. У нас дома о таком и мечтать нельзя — слишком марко. Мы там одеваемся в черное или коричневое — самые практичные расцветки. Льюис уже сидит, прислонив свой костыль к спинке стула. Его темные волосы аккуратно расчесаны на косой пробор, слева направо. Я представляю, как по утрам, желая достичь такого безупречного результата, он долго приводит их в порядок, смазывая гелем и приглаживая рукой непокорные пряди. Он не улыбается и выглядит сосредоточенным. Видно, что этот мальчик невероятно умен и рассудителен. Зато Саймон на своем высоком стульчике весь в движении, и его непослушные кудряшки прыгают при каждом жесте; сейчас он пытается ухватить оранжевую пластмассовую ложечку.

Джеймс внимательно разглядывает этикетку на бутылке белого вина. Моника приносит из кухни и ставит на стол огромное блюдо с

чем-то похожим на говяжье жаркое. Большой кусок мяса, окруженный картофелем, овощами и воздушными круглыми булочками, купается в красноватом соусе.

— Это называется *Yorkshire pudding*, йоркширский пудинг, — разъясняет Джеймс, видя мое недоумение. — Мы, англичане, очень любим наш пудинг, особенно под соусом из красного вина и мясного сока.

И он подмигивает мне так, словно представляет себя на моем месте. Это внушает мне доверие. Мальчики ведут себя хорошо, оба спокойно едят. А мне эта трапеза кажется какой-то нереальной. Мой взбудораженный мозг судорожно сопоставляет эту картину с эпизодами из прежней, домашней жизни. Я вспоминаю своих маленьких кузенов: за столом они непрерывно суетились, пинали друг друга под скатертью, бросались кусками еды. Родители на них орали. Ужин, включая десерт, длился каких-нибудь пятнадцать минут, не больше. А тут братья не ссорятся, не дерутся, сидят себе молча и сосредоточенно едят.

— Эммилу — красивое имя, — говорит мать семейства. — Откуда оно?

Я довольна: мне понятно то, что они говорят, их английское произношение мне не мешает.

Отец семейства наливает вина в мой бокал. Я удивляюсь, но не протестую. Что это — способ показать мне, что я тоже взрослая за их столом? Объясняю им короткими, простыми фразами, что мои родители — фанаты музыки кантри, что они обожают американскую певицу Эммилу Харрис и поэтому дали ее имя своему первому ребенку. В ответ Моника, даже не дожидаясь моего вопроса, рассказывает, как они выбрали имя их младшему — Саймону: она, когда была беременна им, подсела на песни Саймона и Гарфанкела[17]. И, поставив свой бокал на чистую, безупречно отглаженную скатерть, добавляет:

— Я бы, наверно, очень подружилась с вашими родителями!

Отвечаю ей улыбкой, а сама думаю: «Как бы не так, шансы равны нулю!» Джеймс спрашивает:

— А у вас есть братья или сестры?

— Да, младшая сестра Маэль.

Больше ничего не добавляю. Да мне особо и добавлять-то нечего. Но меня смущает молчание, воцарившееся после этого, и я спрашиваю:

— А что, до города далеко, если пешком?

---

[17] Сноски: 17

Пол Саймон (р. 1941) и *Арт Гарфанкел* (р. 1941) — американский фолк-рок-дуэт, который выступал и записывался совместно в основном в 1960-х.

Взрослые переглядываются и смеются.

— До города? — переспрашивает отец семейства. — Ну, я бы сказал, тридцать-сорок минут ходьбы. Только нужно быть осторожной, дорога небезопасна, да вам и не потребуется ходить в город, у нас тут есть все необходимое. Потому-то мы и выбрали это местечко — в «Хидден-Гроув» живется спокойно.

Слушаю их, разглядываю и думаю: наверно, это типично для тридцатилетних людей — стремление жить отрезанными от цивилизации…

Мой будильник звонит очень нежно. Это первый его звонок со дня смерти Морганы. И лучший вторник в моей жизни. Мой первый рабочий день. Я не знаю ни страну, ни людей, которые меня приняли, однако чувствую себя прекрасно. Наконец-то у меня перестало ныть под ложечкой. Может, потому, что впервые за долгое время призрак Морганы не явился мне во сне, чтобы изливать в ночной темноте свою страждущую душу. И я впервые не попыталась бежать за ней, надеясь догнать, и она не выскользнула у меня из рук и не исчезла; впервые я не встретилась взглядом с ее мертвыми глазами, с этим потусторонним взглядом, пристальным и отсутствующим. Я вообще не видела снов, а просто спала.

И вот сейчас я лежу в своей постели, на спине, подложив руки под голову; солнце щекочет мне лицо и озаряет стену моей комнатки. Животные и растительные мотивы пестрых обоев над кроватью напоены светом и энергией, которую я черпаю у них для предстоящего дня, для новой жизни, для выбранного нового пути, что вырисовывается передо мной. Да, я сама его выбрала — уж это-то мои родители постарались мне внушить! Когда я объявила им о своем решении, они подняли меня на смех. «Ну что ты будешь делать

у этих богатеев, бедняжка?! Да они из тебя все соки выжмут! — воскликнула мать. — Ты понятия не имеешь, как они живут!» Отец тоже боялся за меня — это было видно по его глазам. А мать — та даже не захотела прямо взглянуть на меня, только пожала плечами, не отрываясь от глажки белья. Мне стало тошно от этих разговоров, но я все-таки выстояла, я уехала, и это было мое первое самостоятельное решение в жизни. Первое — и, несомненно, самое лучшее.

Встаю, выглядываю в окно и любуюсь садом — этой дерзкой изумрудной зеленью, украшением города. Подумать только, я в Лондоне — в этом сверхсовременном, сверхактивном, шумном городе — и все-таки чувствую себя в безопасности, защищенной от его сумасшедшего ритма. Я трезво оцениваю свои шансы на успех и сделаю все, чтобы его добиться. Слышу, как отворилась в коридоре дверь спальни хозяев и отец семейства сбежал по лестнице. Этот не теряет времени даром. На часах тринадцать минут восьмого. Одевшись, я спускаюсь на второй этаж, чтобы разбудить детей. Двери их комнат приоткрыты, и я вижу Монику в детской Льюиса. Она стоит на коленях перед сыном и тихонько беседует с ним, говоря: «Все будет хорошо, у тебя получится!» — и

целуя его в лоб, в щеку, в шею. Видимо, он бывает не в духе по пробуждении. Его мать произносит несколько фраз, мерно качая головой в такт своим словам:

— Господи, Отче наш Небесный, Всемогущий и вечный Боже, Ты благополучно довел нас до начала этого дня; так защити нас в этот день Твоей могущественной силой; и дай, чтобы в этот день мы не впали ни в какой грех и не подверглись никакой опасности; но чтобы все наши дела были направлены Тобою, дабы мы всегда поступали праведно пред Тобой… Да славится Иисус Христос, Господь наш! Аминь.

Я стою на пороге, не смея шевельнуться. Понимаю только отдельные слова: *sin* — грех, *God* — Господь, *danger* — опасность и *Amen* — Аминь. Странные истории она рассказывает сыну! Не очень-то веселые. Моника оборачивается, замечает меня и говорит Льюису уже нормальным, более твердым тоном:

— Ну-ка вставай, дорогой, а то опоздаешь!

Я ужасно смутилась, застав их в такой момент духовной близости. Однако Моника мне улыбается, и я успокаиваюсь.

Вхожу в кухню; время — семь часов девятнадцать минут и восемнадцать секунд. Стенные часы точны и беспощадны. Само их наличие не дает никому расслабляться. Джеймс уже уехал на работу. Моника просит меня понаблюдать за тем, как она готовит этот первый (в моей работе) завтрак, чтобы в другие утра я могла ее подменять. В этом семействе ранняя трапеза (по-английски — *breakfast*) — сложная церемония. Мать перечисляет все, что есть, а дети выбирают: тосты, оладьи или сухарики? Засахаренные хлопья: кукурузные, овсяные или корнфлекс? Что намазать на тосты — мед или варенье? Как подать фрукты: целиком или нарезанными? Какое выбрать пюре: яблочное, манговое или грушевое? Чем запивать еду: холодным молоком, горячим или какао? Прямо настоящее гостиничное меню, и что именно подавать, мне бы лучше знать заранее.

Я прямо балдею от такого роскошного выбора, и для кого? — для этих вот маленьких ребятишек! У меня дома на завтрак давали вчерашний хлеб да какао «Nesquik» — и все, хватит с вас! Нашей маме даже в голову не приходило предлагать нам еду на выбор: бери, что дают, ешь поскорей и выметайся!.. Мальчики с любопытством поглядывают на меня: что это за незваная утренняя

гостья? Пытаюсь изобразить воспитанную девицу, разрезая яблоко на дольки. Льюис несмело улыбается мне, он выглядит очень робким.

— Мама, у меня сегодня вечером рисунок? — вежливо спрашивает он, зачерпывая ложкой корнфлекс из своей чашки.

Он смотрит на мать с любовью, но и с легким беспокойством. Как же я завидую этому мальчику, как завидую этой женщине!

— Да, милый, на рисунок я тебя отвезу, а до этого ты сделаешь уроки в Центре.

В Центре? Так, наверно, зовется его школа — учебное заведение для детей-инвалидов. Но это я выясню попозже, не сейчас. Моника держится спокойно, вся внимание и любовь к своим детям — о такой матери можно только мечтать. Саймон жует тост, слушая разговор; у него сонные глаза, кудряшки встрепаны, пижамка смята, он еще не вполне проснулся, но выглядит очаровательно.

Как же мне нравится атмосфера этой первой, утренней трапезы у них в доме! Я наслаждаюсь этим зрелищем. Хлопья для старшего сына, тост и яблочно-манговое пюре для младшего — все это я стараюсь запомнить. И еще пытаюсь угадать, откуда берутся все эти продукты: здешняя кухня представляет собой огромную белую стену, в

которой едва угадываются шкафы без ручек. На мой взгляд, это непрактично. Но я говорю себе: наверно, богачи не желают, чтобы продукты и кастрюли мозолили им глаза, это же такое вульгарное зрелище. Вот они и прячут съестные припасы, вынимая их, лишь когда требуется удовлетворить низменные человеческие потребности.

— А ну-ка, кто хочет нарезанные яблоки?

Но все уже вышли из кухни; Льюис оставил несъеденной половину своего корнфлекса, однако, переступая порог, сказал мне:

– *Thank you, Emmylou.*

Спасибо… Вроде бы и пустяк, но меня это тронуло. Смотрю на часы: семь часов, сорок шесть минут и пятьдесят шесть секунд.

До чего же приятны первые часы, проведенные в этом доме! И этот первый, такой душевный завтрак. И первая попытка одеть Саймона… в темпе рок-н-ролла. Мы с ним вдвоем в его детской, малыш смотрит на меня; ему пора сменить подгузник. Открываю стенной шкаф: он битком набит разноцветными сверхмягкими детскими одежками. Это уже готовые комплекты «верх-и-низ». Беру один из них наугад. Выбрасываю использованный подгузник и ищу, чем бы вытереть малышу попку. Саймон, в наполовину надетом свитерке, не дается, изгибается, брыкается, пробует вырваться у меня из рук. С низом та же история: едва я натягиваю штанишки на одну ножку, как ребенок, вывернувшись, удирает. Бегу за ним следом и замечаю Монику в комнате напротив. Она занимается Льюисом. Тот сидит на краю постели, и мать вроде бы массирует ему то ли ступни, то ли ноги сверху донизу. Чем же он болен? И что у него с ногой — повреждена, парализована, изуродована? Мне тяжело смотреть на это. Беру Саймона на руки, он играет моими волосами, такой жизнерадостный малыш. Как же мне хорошо в этой семье!

— Держите, здесь все необходимое, — говорит Моника, протягивая мне ведро с моющими средствами, тряпками и губками (одна для мебели, вторая для туалетов) и пару резиновых перчаток.

Я чувствую себя как-то странно: впервые мне предстоит заниматься уборкой у незнакомых людей, стирать пыль и жирные отпечатки с мебели, с унитазов и раковин, которыми я не пользовалась. Я не готова к этому новому ощущению — к неловкости. Мне то ли неловко убирать, то ли неловко за этих людей, которые заставляют чистить свой дом школьницу, незнакомку, которая пересекла Ла-Манш, чтобы выучить английский… Чужая грязь — противное ощущение. Отвратительное… Хотя эта семья просто-напросто стремится к чистоте в своем доме. Моника не дает мне указаний — то ли из деликатности, то ли полагая, что я и так со всем разберусь. А мне не хочется выглядеть дурочкой, которая спрашивает хозяйку, что нужно делать. Потому что я заранее знаю ответ: все.

Слышу, как хлопнула входная дверь: это ушла Моника. Я облегченно вздыхаю; мне не хотелось, чтобы меня видели за уборкой. По крайней мере, в первый же день. Мы с моей розовой губкой

проходимся по кухонной мебели, сметаем крошки со стола, стираем брызги компота и прочие лужицы. Выжимаю губку в раковину. Подметаю щеткой пол — вот это легче всего: по крайней мере, ничего не нужно касаться руками. Затем смахиваю тряпкой две-три пылинки в гостиной. Открываю дверь туалета на первом этаже. Он похож на темно-зеленый кокон, здесь лежит стопка иллюстрированных журналов, посвященных дизайну дорогих загородных домов. Моя голубая губка обтирает унитаз; крышка вроде бы чистая, белая, но, подняв ее, я обнаруживаю желтые следы мочи, которая всю неделю стекала на дно. От такого зрелища меня начинает подташнивать. Я стараюсь поскорей удалить эту гадость, щедро поливая ее жавелевой водой. И только сейчас осознаю, что никогда не мыла туалет в родном доме… Похоже, у нас этим занималась мать — каждую неделю. И мне становится стыдно.

Вхожу в гостиную — это огромная комната. Уборка позволяет мне подробно обследовать ее, так что я не тороплюсь. Вчера после приезда я была так ослеплена здешними величием и роскошью, что не обратила внимания на подробности.

Помещение имеет форму буквы «Г». Выходя из кухни, видишь слева от себя просторную сто-

ловую, а справа — диван, кресла, телевизор и книжные стеллажи. Метелка для пыли ведет меня дальше, туда, где стена оканчивается проемом. А за ним я обнаруживаю ничем не украшенный закуток: голые кремовые стены, низкое кресло из темного дерева, какой-то странной формы. Я рассматриваю его, не понимая, как на него садиться. Пробую присесть, но, когда опускаюсь на плетеное сиденье, почти касающееся пола, мои колени поднимаются выше головы, а такая поза крайне неудобна. Может, на него становятся коленями, опираясь локтями на спинку? Я так и делаю и вдруг, подняв глаза, вижу перед собой, наверху, распятие из светлого, тщательно отполированного дерева, которое почти сливается со стеной. Мне чудится, что я монахиня в каком-то монастыре. Даже не смею пошевелиться. Оглядываю этот уголок: слева — деревянная скамья, на которой лежит толстенный фолиант; справа — абсолютно голая стена, которая упирается в угол. Взгляду тут не на чем задержаться, поэтому он естественно обращается к распятию.

Я приехала позавчера, так что нить, которая связывала меня с Плуэрнеком, с моим первым днем в Лондоне, с моей первой ночью и первым утром здесь, в этом доме, вот-вот оборвется.

Монике захотелось побеседовать со мной. Она уже развезла детей на машине, как и всегда по утрам. А теперь протягивает мне чашку чая и говорит:

— Мне нужно кое-что рассказать вам о Саймоне и Льюисе.

Я ужасно рада: сейчас я побольше узнаю о ее детях. Мы с ней сидим на высоких табуретах у кухонной стойки. Лицом к лицу.

— Ну, пока все в порядке? — спрашивает она.

Я что-то не услышала вопроса в ее тоне, но все-таки киваю:

— Да, все прекрасно. *Perfect!*

— Вот несколько советов, — говорит она. — За Саймоном нужно следить крайне внимательно; ему всего два года, он очаровательный ребенок, но очень уж подвижный, с него нельзя спускать глаз. Стоит вам отвернуться, как он может натворить бог знает что. ОК?

Она произнесла это громко и раздельно, чтобы я все поняла.

— Да, конечно, мадам. А Льюис?

— Называйте меня просто Моника, так будет приятнее.

Для кого приятнее… для меня или для моей хозяйки? Я еще не понимаю, что у нее на уме. Но держится она с уверенностью богатой дамы. И отдает распоряжения, не показывая вида, что командует.

— Льюис довольно замкнутый мальчик, робкий и, пожалуй, слишком уравновешенный для своих лет. Но он очень милый — да вы и сами в этом убедитесь. И спать ложится довольно рано: обожает читать в постели.

Мне чудится в ее взгляде легкая печаль. Странно: неужели любовь к ребенку непременно идет бок о бок с грустью, с боязнью потерять духовную близость с ним? Однако Моника уже справилась со своими эмоциями:

— Я уверена, что вы очень скоро адаптируетесь, а они… о, они будут вас обожать.

Я улыбаюсь, киваю и молчу; долго молчу, жду, когда она расскажет мне о Льюисе чуть побольше. Как мне обходиться с этим мальчиком, должна ли я заниматься им, менять ему белье, сажать в ванну? Какие предосторожности нужны в обращении с ним? Что у него за недуг? Страдает ли он от болей? Где проводит весь день? Что это за

Центр, куда его возят? Чем он там занимается? Но она ничего мне не рассказывает. Как будто ее сын и не ходит с костылем. Как будто он не инвалид. Однако я молчу, уважая ее сдержанность. Она моя хозяйка, она внушает мне почтение. Ее молчание — некий барьер между нами. Моника встает. Конец беседе. Она ставит свою чашку в раковину. А я потом суну ее в посудомойку. Я поняла это немое послание.

Из них двоих Джеймс мне симпатичнее. Моника очень улыбчива, но мало интересуется мной и быстро обрывает наши диалоги. Она сама решает, как часто и в каком темпе со мной беседовать. А Джеймс любознательней ее, он задает прямые вопросы и не спешит заканчивать разговор. Хотя из них двоих работает именно он. Ужин — единственное время, когда мне удается поупражняться в устном английском. И уж я использую эту возможность сполна. Сегодня вечером этот урок прошел замечательно. Джеймс подробно расспрашивал меня о Бретани, о моей жизни ученицы французского лицея. Спросил, по-прежнему ли существует «бак», и я ему подробно рассказала об экзаменах выпускного класса, не забыв упомянуть, что получила хорошую оценку по литературе. Он пришел в полный восторг: «Oh, God! Brilliant!»[18] И, обратившись к сыновьям, привел меня им в пример — мол, в основе блестящей карьеры всегда лежит хорошая учеба. Саймон, конечно, ничего не понял. А Льюис продолжал медленно жевать мясо с горошком, словно этот разговор к нему не относился; возможно, впрочем, он считал вполне естественным,

[18] Сноски: 18
Боже! Потрясающе! *(англ.)*

что в школе нужно учиться хорошо. В свои десять лет этот мальчик отличается зрелым, взрослым характером.

Джеймс добавил:

— Ваши родители должны гордиться вами!

Мои родители? Как бы не так! Они даже не поинтересовались, успешно ли прошли экзамены, а когда я предъявила им аттестат с оценкой «хорошо», мать пробежала его глазами и передала отцу, который положил его около своего транзистора, бросив: «Ну слава богу, разделались!» — и вернулся к своей газете: расправил ее на столе, покрытом оранжево-зеленой полосатой клеенкой, и продолжал читать местные новости, водя пальцем по строчкам. Как будто считал эту газетенку — «Запад Франции» — куда важней для жизни семьи. Я была тогда просто убита. Но может, хоть теперь, когда я пересекла Ла-Манш и устроилась работать в эту чертову семью, родители признают наконец мои заслуги?!

В тот день меня так и подмывало крикнуть своим предкам: «Вы думаете, это легко — получить такой аттестат, ходя в обычную школу, давясь вашей убогой жратвой и ложась спать в девять вечера? Пока мои одноклассники кадрились или торчали в местном торговом центре, я сидела

над учебниками. Просила Моргану по десять раз проверять мою домашку, часами слушала магнитофонные записи, всю себя посвятила учебе. А вам небось кажется, что только вы одни и работаете?» Но я смолчала, не возразила им ни словом, и все мои чувства остались при мне, внутри, за стиснутыми зубами, сдержавшими обиду и гнев. Вот и сейчас я только улыбнулась и ответила Джеймсу:

— О да, мои родители очень гордились мной!

Я уже полностью вошла в свою роль «девушки для услуг». Вот уже неделя, как дни проходят совершенно одинаково: утром глава семьи уезжает на работу, а мать увозит детей — Саймона в ясли, Льюиса в Центр. В десять часов Моника возвращается после своих занятий гимнастикой. Я посвящаю все утро уборке, комната за комнатой. В полдень обедаю одна в кухне. (На этот счет я не получила никаких указаний. Когда Моника бывает днем дома, она ест в одиночестве, ничего мне не предлагая, так что я просто доедаю остатки вчерашнего ужина.) И как только выдается свободная минутка, поднимаюсь в свою каморку — учить английский и готовиться к конкурсу на факультет журналистики. Такая вот у меня цель в жизни. К половине четвертого мальчики возвращаются домой, я кормлю их полдником, играю с ними. Льюису страшно нравится обыгрывать меня в «Эрудит», а Саймону — бросаться своими плюшевыми зверюшками.

Вечером я купаю младшего, а Моника занимается старшим и готовит еду, после чего мы все вместе ужинаем. Родители укладывают детей, я им помогаю как могу — к примеру, читаю Саймону книжки. А в некоторые вечера, когда мои хозяева уходят в гости или принимают гостей у

себя дома, работаю как *baby-sitter* на втором этаже. В таких случаях родители строго запрещают детям спускаться: это приемы для взрослых. Их вечеринки очень меня интригуют. Иногда, переходя из комнаты Саймона в комнату Льюиса, я украдкой поглядываю вниз: интересно знать, кто они, эти гости. Их лиц сверху не разглядеть — как правило, они скрыты шляпами, но я заметила, что на всех приглашенных темная одежда. Во всяком случае, для людей, собравшихся повеселиться, они ведут себя довольно тихо.

Ненавижу заниматься уборкой: эта скучная, бессмысленная работа отнимает массу времени. К счастью, тут есть и положительная сторона: я обследую шкафы, ящики, вешалки с одеждой. Меня это захватывает: я узнаю интимную сторону жизни моих хозяев и словно бы слежу за ними, оставаясь незамеченной. Мне кажется, я начинаю понимать, что они собой представляют на самом деле, каковы их вкусы, привычки, мании, недостатки. Это сулит много интересных открытий — вот почему каждое утро я охотно волоку наверх тяжеленное серое ведро с водой и моющие средства в банках и коробках с удушливым запахом. Начинаю всегда со спальни родителей: это помещение интригует меня больше всего. Может, потому, что его отделяет от моей каморки всего одна стена. Эдакий маленький, недоступный для меня театрик.

Представляю себе обоих супругов: вот они снимают свою красивую одежду и, отбросив приличия, пускаются в беззастенчивые признания. И при этом, наверно, производят звуки, на которые не осмелились бы в моем присутствии: мне кажется, они должны целовать друг друга в шею, в плечи, в ягодицы. А может, все наоборот: полностью игнорируя друг друга, оба чистят

зубы, надевают пижамы, ныряют под одеяло и ложатся спина к спине, надеясь спокойно провести ночь. Меня будоражит именно это сочетание возможных вариантов. И потому, делая уборку в их спальне, я бдительно изучаю все мелочи: высматриваю, скомкано одеяло или аккуратно откинуто как с одной, так и с другой стороны постели, чтобы легче было встать; валяется ли нижнее белье под кроватью, ну и всякое такое. Моя мать назвала бы меня гнусной сыщицей. Так и что с того, — может, это помогает мне держаться?

Нынче утром замечаю, что в спальне моих хозяев все прибрано слишком уж тщательно, просто безупречно. Лично я, спешно собираясь в школу, устраивала вокруг себя полный кавардак; они же обычно возвращают все на свои места — зубные щетки, банные полотенца… а несвежую одежду складывают в корзину для грязного белья. Завидую этой аккуратности, этому умению вести себя. Их ванная — просторное, залитое ярким светом помещение, где царит единство стиля; ванна на ножках, унитазы, *the washbasins* или, по-французски, *les vasques* (полистав глянцевые журналы, собранные в туалете, я узнала, что английские богачи не называют их *sinks*, то есть «раковины»).

Белоснежный фаянс создает приятный контраст с цветом *linen* (по-нашему — льняных) полотенец и кафеля на полу (богачи отчего-то не называют его бежевым). Меня радует возможность изучить сразу два языка — общепринятый английский и английский богачей. А пока я усердно чищу чистое, поскольку все это уже отмывала здесь и вчера, и позавчера, и позапозавчера.

Десять часов утра; слышу, как возвращается Моника: она уже развезла детей и позанималась гимнастикой. Из окна их спальни смотрю, как она паркует свой джип. Ключ поворачивается в скважине, дверь захлопывается, и снова поворот ключа. Я уже знаю все звуки, сопровождающие действия моей хозяйки: вот она готовит себе чай, садится за стол в гостиной, раскрывает свой толстый блокнот в черной кожаной обложке и начинает планировать день, делая звонок за звонком. Потом вздыхает. Раз за разом… Надеюсь, не из-за меня — я была старательна, придраться не к чему. Бросаю последний взгляд на родительскую спальню — идеальный порядок! Спускаюсь на «детский» этаж. Но тут меня зовет Моника: «Эммилу!» Сбегаю вниз: неужели я что-то забыла сделать? Однако хозяйка протягивает мне письмо и разрезной нож. Я удивлена. Смотрю

на обратную сторону конверта, чтобы узнать, кто отправитель, но там ничего нет. Я вне себя от радости: мне так хотелось, чтобы кто-нибудь вспомнил обо мне! Благодарю хозяйку, вскрываю конверт и возвращаю ей нож, который она кладет на консоль в прихожей. А я как на крыльях взлетаю в свою комнату.

Вынимаю из конверта простой белый листок. Строчки разбегаются вкривь и вкось по всей странице — того и гляди свернут себе шею.

Плуэрнек, понедельник, 2 сентября 1996 года

Привет, Эммилу!

Надеюсь, у тебя все тип-топ! Я уверена, что тебе эта семья понравилась. Тут у нас все по-старому: льют дожди, близнецы собачатся с утра до вечера, а моя мать на нас орет. Завидую тебе – небось ты там хорошо устроилась. А я каждую неделю хожу на могилу Морганы; на ней больше цветов, чем на всем остальном кладбище. Прибираю там, хочу, чтоб могилка выглядела безупречно; очень я по ней скучаю. В общем, ты меня понимаешь. А как там поживают мальчики? Льюис по-прежнему лучший ученик в классе? А Саймон, наверное, уже начал говорить? Интересно, он вспоминает обо мне? Я ведь его почти с самого рождения знаю, этого ангелочка!

Ну вроде все, целую тебя крепко!

Виржини

P. S. Смотри не проболтайся Монике, Джеймсу или детям, что это я тебе пишу. Помни: мы с тобой незнакомы!

Как же я благодарна Виржини за то, что она помогла мне устроиться сюда на работу! Это была хитрая махинация: она мне объяснила, что ее хозяева не желают нанимать служанку, знакомую с предыдущей, — боятся, что первая поделится со второй их семейными тайнами. Они, мол, очень скрытные, эти богачи из высшего общества, и предпочитают каждый раз начинать с чистого листа. И я это хорошо понимаю, даже притом, что мне ни на секунду не удается вообразить себя на их месте. Виржини всего лишь дала мне ссылку на объявление и тысячу советов о том, как должна выглядеть и держаться девушка, которую они ищут, а я сразу откликнулась на объявление. И мне здорово повезло: они выбрали меня!

В результате пришлось собирать чертову уйму документов — медицинское досье, подтверждающее мою способность ухаживать за детьми, плюс результаты анализов, плюс рекомендация директора моего лицея. Все это заняло у меня кучу времени, но теперь я убедилась, что дело того стоило. Получив ответное письмо Уайтов

с сообщением, что они остановились на моей кандидатуре, я почувствовала, что одержала маленькую победу, попав в число избранных!

Прячу письмо Виржини в карман; сегодня же вечером напишу ей, чтобы она могла прочитать мой ответ на следующей неделе. И тут вспоминаю, что забыла взять чистое постельное белье для детских кроватей; спускаюсь в прачечную за пододеяльниками с изображениями динозавров и астронавтов. Прохожу мимо гостиной; хозяйки там уже нет. Стол там, где она сидела, усеян листками, вырванными из ее еженедельника. Она всегда выглядит занятой по горло — хотела бы я знать почему…

Привет, Виржини!

Спасибо за письмо; надеюсь, что тебе все-таки живется хорошо. Здесь тоже все хорошо. Вот только я была очень удивлена, когда увидела, что Льюис ходит с костылем…

Вырываю этот листок из своего блокнота: воображение у меня на нуле. Я жутко устала за сегодняшний день: прибиралась, раскладывала вещи по местам, присматривала за мальчиками. Ярость, которая слегка улеглась из-за новых впечатлений, снова бурлит во мне. Правильно ли я поступила, приехав сюда? Хватит ли у меня времени на подготовку к экзаменам? Кроме того, я не высыпаюсь; я всегда плохо спала, но вот уже несколько дней вроде сплю, а вроде и не сплю. Мне хочется поговорить с подругой, с моей единственной подругой. И я достаю заветную тетрадь.

Моргана, твоя смерть пробила такую огромную брешь в моей жизни, что у меня не хватит воспоминаний, чтобы ее закрыть. Твое самоубийство все разрушило, и я не знаю, как это поправить. Мне

страшно – при мысли о тебе я боюсь сойти с ума. Я никому этого не показываю, но, вспоминая тебя, вижу только одно – твое последнее тело. Ты не поймешь, что я имею в виду, тебя там по-настоящему уже не было, но я-то все помню. Помню твое тело после падения с шестого этажа, на которое твой дед заставил меня посмотреть. Он мне потом сказал – твой дед, – указав на твои останки в крематории: «О-ля-ля! Они ее хорошо обработали – глянь, как прекрасно выглядит. Небось после падения и смотреть-то было не на что». Он старался балагурить, но при этом выглядел подавленным.

Потом он снова принял вид опечаленного дедушки, который не понимает, почему любимая внучка ушла из жизни раньше его, и выразил мне свои соболезнования, как будто это я была твоей родственницей. Впрочем, он знал о нас с тобой, о нашей дружбе «не на жизнь, а на смерть». А я, стоя рядом с ним, ничего не говорила, не плакала, только не спускала глаз с твоего тела. Оно было меньше, чем твое прежнее, живое. Это уже бы-

ла не совсем ты. Твое лицо истаяло, и грудь тоже; тебя обрядили в оранжево-коричневую блузку с «психоделическим» орнаментом, которую ты всегда надевала, собираясь на танцы. Когда-нибудь я наберусь храбрости и спрошу тебя, почему ты покончила с собой. Твои родители сказали, что это, мол, из-за депрессии. Правда ли? Не знаю, да и не хочу сейчас думать о причине; оставь меня в покое, у меня голова раскалывается от боли, вдобавок, как ты знаешь, сегодня утром мне пришлось после четырехчасовой уборки еще и заниматься малышом – старшего мама повезла к врачу.

За этим Саймоном только глаз да глаз – он гиперактивный ребенок, всюду бегает, все хватает, что нужно и что не нужно. А потом вдруг меняется и ведет себя совсем иначе. Ничего общего с моей сестренкой Маэль, хотя я уже напрочь забыла, какой она была в свои два года. Вот только что я пришла раскладывать детские одежки по полкам в их необъятных шкафах и застала Саймона в его комнате перед огромным зеркалом; он

смотрел на себя молча, не говоря ни слова, и я не решилась его отвлекать. Вот уж не знала, что двухлетний малыш может так пристально разглядывать себя. Гнетущее зрелище…

К счастью, у него такая хорошенькая мордашка… а волосики очень темные; они облегают его головку, как шлем, – меня это прямо зачаровывает, ведь я родилась в семье тусклых блондинов. Наши волосы – редкие, мягкие – никогда не лежат как надо, мы постоянно выглядим встрепанными. А вот темные, мне кажется, лежат хорошо, выглядят эффектно, производят впечатление. Саймон еще несколько секунд смотрел на себя, а потом отвернулся и кинулся стремглав как ненормальный в комнату Льюиса… А я решила завтра встряхнуться, выйти из дома и обследовать здешнюю резиденцию: мне уже начинает не хватать воздуха в этих стенах. Засыпаю над книгой «Мизери» Стивена Кинга; если вдуматься, на свете полно еще более злосчастных страдальцев, чем ты сама. Вот, например:

«Темнота. За ней – боль и туман. А по-

том – осознание того, что боль хотя и не прекращается, зато время от времени как будто нехотя идет на перемирие и прячется, и тогда наступает облегчение. Первое истинное воспоминание: задержка, а затем – насильственное возвращение в жизнь при посредстве пакостного женского дыхания»[19].

[19] Сноски: 19

Цитата из психологического хоррора «Мизери» («Misery», 1987) Стивена Кинга приводится в перев. А. Григорьева.

Сегодня я покончила с уборкой немного раньше, чем предполагала. Моника объявила мне — своим непререкаемым тоном, — что им предстоит очень важная консультация у врача; как ни жаль, она вынуждена оставить меня одну и надеется, что я справлюсь самостоятельно. В чем я ее и заверила, скрывая свою радость.

Отворяю входную дверь и только тут осознаю, что уже много дней не покидала дом. Не по этой ли причине я такая заторможенная, полусонная? Мне чудится, что мою шею охватывает какой-то новый, непривычный холод. Я удивлена. Небо свинцово-серое. Может, я заболеваю? Попятившись, возвращаюсь в дом и снимаю с вешалки красный шарф Моники — *взрослого*, темно-красного насыщенного цвета, в котором есть что-то роковое. Наматываю его на шею и только тут чувствую, какой он необыкновенно мягкий и какой от него исходит чудесный аромат. Прошло всего несколько секунд, а я уже ощущаю себя совсем другой — возвышенной, независимой, прекрасной. И меня снова обуревает нетерпеливое желание осмотреть эту резиденцию богачей. Правда, никак не могу решить, в какую сторону идти: мне чудится, что дома расположены на вращающемся диске, с площадью в центре. Так

от чего же стартовать?

Решаю подойти к главным воротам, чтобы осмотреть все с самого начала. Итак, вот я стою спиной к воротам. Справа от меня высоченные деревья, тесно растущие вдоль «крепостной» стены. Прекрасные деревья — стройные, величественные; они притягивают взгляд и манят к себе. Так и хочется войти под их зеленую сень; однако, подойдя ближе, я обнаруживаю, что это чистая иллюзия: деревьев не так уж много и они служат всего-навсего маскировкой для монументальной кирпичной ограды. Иду мимо них и пытаюсь определить ее высоту. А она поражает воображение: чтобы разглядеть гребень стены, мне приходится сильно запрокинуть голову. Что ж, по крайней мере, можно быть спокойным: извне сюда никто не сможет забраться. Наконец подхожу к какому-то зданию и тут осознаю, что до сих пор незнакома с соседями, живущими слева от нас. Мне чудится, что я стою перед домом моих хозяев.

Точно такие же кирпичные стены; такие же *bow windows*, напоминающие глаза гигантской мухи; такие же подстриженные деревца. Это безупречное сходство вызывает у меня легкую тревогу. Я стою перед этим домом, не в состоянии

двинуться с места. Мне хотелось бы найти, как в известной загадке, «семь различий», но я не нахожу ни одного. Даже шторы на окнах и те одинаковые — из плотной бежевой ткани. Внезапно мой взгляд привлекает какое-то движение на втором этаже. Я могла бы поклясться, что там, в окне, дрогнула занавеска. Значит, кто-то меня заметил? Проходя мимо других домов резиденции, я никого не встречаю — ни хозяев, ни слуг. И чувствую, как растет моя тревога. Вокруг ни души, однако я уверена, что за мной следят. Миновав наш дом, приближаюсь к следующему. Небо нахмурилось, первые капли дождя падают на гладкую асфальтированную дорожку, и она начинает блестеть от влаги.

Но дальше тоже никаких сюрпризов: чужой особняк выглядит красивым, новеньким, величественным. Пытаюсь урезонить себя: в такой резиденции, надежно защищенной от внешнего мира, нечего бояться. И тут мне живется гораздо лучше, чем снаружи. Продолжаю свое обследование. Ищу глазами почтовые ящики, которые подсказали бы мне имена владельцев этих домов. Ничего похожего! Прохожу мимо четвертого дома и замечаю следующий — пятый, единственный дом, перед которым нет ни одной

припаркованной машины. Не считая этого, все здания абсолютно одинаковы. И по-прежнему никаких признаков жизни. Я сильно разочарована. Делать нечего, решаю вернуться к себе, чтобы осмыслить новые впечатления. Подхожу к дверям дома Уайтов, оборачиваюсь, и мой взгляд падает на глазок камеры, висящей между стеной и воротами, — круглый, черный, блестящий, немигающий глазок. Подхожу к нему ближе: никакой реакции. Резко оборачиваюсь — мне вдруг опять показалось, что за мной следят. Я чувствую себя загнанной. Неужели кто-то действительно наблюдает за мной?

Вбегаю в дом и стою, прислонясь к двери, стараясь отдышаться, словно спасалась от серийного убийцы. Мне стыдно за свою панику, и я уверена, что скоро сама буду смеяться над собой.

На часах восемь тридцать, на календаре пятница, дома никого нет, все разъехались. На высокой кухонной стойке остатки семейного завтрака. Льюис даже не притронулся к своему корнфлексу. Хлопья разбухли в молоке и превратились в бесформенное месиво; теперь им одна дорога — в помойное ведро. Этот мальчик ест очень мало. Может, болен? А если да, то чем? Чай Моники давно остыл; она, как обычно, едва отпила из чашки, но я все-таки замечаю на краешке яркий след ее помады вишневого цвета. Она не завтракает, а вот накрасить губы всегда успевает. Сажусь на ее стул и делаю вид, будто пью из ее чашки, касаясь губами того же края, что она, и воображая, будто веду разговор с моим мужем: «Ты успел подписать табель Льюиса?.. Милый, ты заметил, что я надела браслет, который ты мне подарил на Рождество? Он прекрасно сочетается с моим белым кашемировым джемпером, это так элегантно, не правда ли?»

Сижу, то и дело скрещивая ноги; делаю вид, будто смотрю на часы и подливаю себе еще чаю, — совсем как моя хозяйка. Особое внимание уделяю Саймону, сидящему в своем высоком креслице: «Все в порядке, дорогой?» Потом с беспокойством смотрю на Льюиса: «Постарайся съесть еще

немножко, милый!» И, выпрямившись, говорю своим воображаемым детям: «Ну-ка, *darlings*, как бы нам не опоздать; быстренько чистить зубы, и мы поедем!»

Словом, я играю в их жизнь, и мне это страшно нравится.

Убирая со стола, думаю о главе семьи — о Джеймсе. Досадно, что я нечасто вижу его; должно быть, у него сумасшедшая работа. Но куда деваться — нужно же оплачивать всю эту роскошь… Когда он здесь, дома, я чувствую, что существую: у него всегда находятся для меня какой-нибудь вопрос, улыбка, и мне кажется, что я вызываю у него интерес. По утрам он пьет крепкий кофе без сахара, стоя. И торопливо съедает несколько гренков, оставляя после себя колючие крошки.

Выхожу из кухни и натыкаюсь на кучу грязного белья; странно, это что-то новенькое — бросать его на пол, у лестницы! Перешагивая через эту кучу, вижу смятые майки, свернутые клубком носки, вывернутые наизнанку брюки, запачканные трусики… Меня прямо тошнит от этого зрелища. Ладно, с бельем разберемся попозже. Я свободна до десяти утра. Собираюсь выйти из дома. Роюсь в перламутровой чаше на полочке у входной двери, куда кладут ключи. Ищу в ней

пульт, с помощью которого открывают ворота. Мне не дает покоя история с камерой наблюдения и хочется узнать, как можно выбраться за пределы резиденции. Но я боюсь расспрашивать своих хозяев — вдруг они сочтут меня слишком любопытной и неблагодарной? А мне совсем не улыбается потерять работу. Хороша бы я была после этого — ни работы, ни денег… И как мне тогда возвращаться домой?

Подхожу к монументальным воротам, которые раскрываются таким таинственным образом и пропускают только машины. А как же пройти пешком? Я замечаю маленькую камеру, прикрепленную у верха стены, рядом с воротами, и спрашиваю себя: а есть ли такая же снаружи, по другую сторону ворот? Ведь иначе непонятно, для чего служит эта, внутренняя. Неужели для того, чтобы следить за обитателями резиденции, за теми, кого они у себя принимают? Ничего не понимаю. Но тут вижу под глазком какую-то черную коробочку. Может, это видеокамера? Я подхожу ближе, ищу кнопку, отступаю, машу рукой и даже прыгаю, желая убедиться, что камера меня засекла… Нет, никакой реакции. Значит, выйти наружу невозможно. Еще несколько секунд торчу перед этой неприступной стеной,

как вдруг решетка содрогается и две ее черные половины с натугой, но беззвучно расходятся в стороны. Ура, я победила!

И тут же сталкиваюсь нос к носу с внушительным капотом джипа, стоящего по другую сторону ворот. Интересно, кто правит этой грузной темной машиной на таких огромных колесах, словно ее владельцы хотят сидеть как можно дальше от земли? В окне с водительской стороны опускается стекло: это Моника. Она вопросительно глядит на меня, словно не понимая, что я здесь делаю. Но строгость в ее глазах быстро исчезает. Подъехав ко мне, она говорит:

— Мои занятия сегодня отменены; какая жалость, я так в них нуждалась!

Я киваю: мне тоже сегодня хотелось поразмяться. Но делать нечего: разворачиваюсь. И, войдя в дом, снова натыкаюсь на эту чертову гору грязного белья. Моника шагает за мной, такая стройная в своем черном трико, облегающем ее, как вторая кожа; под мышкой у нее свернутый в трубку коврик для гимнастики, в руке бутылка с водой. Она безупречна, богата и свободна; ох, как я ей завидую! На кучу грязного белья, оскверняющего ее прихожую, она даже не глядит. Кладет свои вещи на стол в столовой и, не оборачиваясь, громко объявляет:

— Кстати, в воскресенье будет хорошая погода, устрою-ка я, пожалуй, барбекю в саду по случаю

начала осени, нужно же воспользоваться последними погожими деньками!

Вот это событие! Я радуюсь тому, что увижу наконец наших соседей, их детей, а может, и других девушек — моих коллег. Мне не терпится узнать, кто они и какие. А пока, отбросив гордость, начинаю собирать брошенное на пол белье, липкое, грязное, противное.

Хмурое облачное небо пронзает солнечный луч, и все гости приходят в восторг. Конец сентября, температура — плюс шестнадцать градусов, и соседи, собравшиеся в саду моих хозяев, одеты почти по-домашнему. Я стою около террасы, откуда мне прекрасно видна вся фауна резиденции, и это зрелище меня буквально зачаровывает. Тут собралась масса людей, есть на что посмотреть. Взрослые общаются, стоя по двое и по трое, держа бокалы со спиртным; детишки резвыми стайками носятся по саду. Нынче уик-энд, а значит, после полудня я свободна, то есть могу отдыхать. Но поскольку я не гостья, а служащая, мне не стоит расслабляться. И нельзя брать птифуры со стола или смаковать джин-тоник, приготовленный Моникой. Мне это не позволяли, вот почему я думаю, что такое угощение не про меня. Просто держусь в сторонке и наблюдаю.

Моника сияет; я еще никогда не видела ее такой веселой. Она обворожительна: выслушивает новости, разливает по бокалам напитки, предлагает сэндвичи с крохотными сосисками. Да-да, именно так: англичане, даже богатые, едят сосиски. Этот факт как-то утешает, еда сближает нас. Внезапно я ловлю взгляд Джеймса. Как давно он меня рассматривает? Поняв, что я это заметила,

он улыбается одними глазами, машет и подходит поближе:

— Давайте-ка я познакомлю вас со всеми гостями!

Я ужасно тронута тем, что он уделяет мне внимание.

— Вот Лайза и Дэвид, они живут в первом доме направо от ворот резиденции.

— Хэлло!

Эти супруги, оба необыкновенно высокого роста, явно не сознают своего преимущества над остальной частью человечества: не горбятся, не стараются снизойти до моего уровня. Просто смотрят вниз и здороваются со сдержанной любезностью. Джеймс добавляет:

— Они родители близняшек, *the twins*, Элис и Эбби!

– *Great*, очень приятно, — говорю я, пытаясь разглядеть девочек в толпе малышей.

Джеймс объявляет, что я студентка, занимаюсь журналистикой и меня ждет блестящая карьера. Я краснею от его преувеличенных похвал в этом обществе богатеев.

— Дорогой! *Darling!* — кричит Моника Джеймсу. — Ты не мог бы спуститься в погреб и принести «Bass Pale Ale»; у нас уже кончается пиво!

Ах, как я завидую непринужденности моей хозяйки: весь мир у ее ног! Джеймс спешит исполнить ее распоряжение, и я остаюсь одна, лицом к лицу с этой парой английских жердей. Это самый мучительный момент со времени моего приезда. Мой «инглиш» куда-то подевался, и я, вместо того чтобы слинять, как того требует благоразумие, спрашиваю их:

— А у вас тоже есть девушка-помощница?

Вместо ответа они озираются, словно забыли, как выглядит их служанка.

— Дори вон там, — отвечает Дэвид сквозь зубы.

На этом наш диалог кончается. Но тут ко мне, улыбаясь во весь рот, обращается другой сосед:

– *Hello, Emmylou!*

Надо же, он знает, как меня зовут.

– *I am Mitchel*, добро пожаловать в компанию психов!

И разражается смехом. Дэвид и Лайза, в своих одинаковых пуловерах от «Ральф Лоран», смотрят на Митчела как на ненормального родича, которого поневоле приходится таскать за собой на семейные сборища. Потом к нам подходит Холли.

– *Ma bien-aimée, ma grande amoure!*[20] — восклицает Митчел по-французски, утрируя свой акцент.

Сразу видно: он весельчак, и я это ценю. Холли, небольшого роста, с длинными темными волосами, тоже выглядит эффектно — в платье а-ля хиппи, в шляпе, расшитой бисером; я восхищена ее внешностью. Супруги буквально засыпают меня вопросами, так что я не успеваю задавать им свои. Джеймс возвращается из погреба; он помог своей *darling*, которая теперь переходит от одной группы гостей к другой. Митчел и Холли расспрашивают Джеймса о его «деле», а я тем временем поглядываю на Дори. Это молодая пухленькая девушка с рыжими вьющимися волосами. Она стоит у качелей, разговаривая с другой девушкой, брюнеткой, очень стильной на вид. Как же мне хочется принять участие в их беседе! Льюис сидит на террасе, положив костыль рядом с собой на пол. Он посасывает кока-колу через соломинку, как маленький, но обводит гостей взглядом старого мудреца. О чем он думает? Наконец я набираюсь смелости и подхожу к своим коллегам. Они робко смотрят на меня, смущенно

---

[20] Сноски: 20
О моя возлюбленная, мой ангел! *(искаж. фр.)*

улыбаются и представляются:

— Дори.

— Нэла.

— А меня зовут Эммилу.

Девушки пытаются повторить мое имя, но у них получается не сразу; мы, все трое, смеемся, и я завязываю беседу:

— А вы давно работаете в «Хидден-Гроув»?

Дори смотрит мне за спину и съеживается. Я оборачиваюсь и вижу черные зрачки Дэвида. Дори поясняет, что не очень-то владеет английским, и извиняется. Тут меня зовет Моника и, сама того не зная, выручает из этой ситуации. Моя хозяйка чем-то притягивает меня, хотя разговаривает со мной не так сердечно, как Джеймс. Она вполне могла бы быть мною — не нынешней, а такой, какой я буду через несколько лет: сделавшей карьеру, носящей модную одежду и драгоценные украшения, которые столь же естественно смотрелись бы на моих руках и на шее. Но сейчас Моника спрашивает (со своей привычной, хорошо знакомой мне улыбкой, означающей: «Будьте так добры!»), не могу ли я заняться Саймоном, только что стукнувшим свою маленькую соседку, одну из близняшек. Я сдвигаю три детские коляски вместе и сажусь рядом на траву, чтобы

развлечь малышей. Слышу за спиной разговор гостей — о том, что нужно быть бдительней, о кражах, о пропавших документах, о мерах безопасности. Оборачиваюсь: какая-то незнакомая пара нервно расспрашивает Джеймса, а тот поддакивает: «*Indeed*[21], да, конечно, нужно быть очень осторожными!» Я не должна была прислушиваться к этой беседе, но теперь уже слишком поздно, и мне как-то не по себе.

Внезапно раздается крик. Саймон вздрагивает. Это начался ливень. На часах всего двенадцать минут третьего, но послеобеденному барбекю пришел конец.

---

[21] Сноски: 21
В самом деле *(англ.)*.

Сегодня вечером мои хозяева ужинают у соседей. Я уже уложила спать Саймона, а Моника перед уходом занялась Льюисом. Мне пока еще не приходилось ухаживать за ним. Саймон несколько раз позвал меня: «Милу! Милу!» Он не любит, когда родители уходят из дома, ему требуется ощущение безопасности, чем я и пользуюсь, — это мой единственный человеческий контакт. Перед тем как надеть на Саймона пижамку, я поиграла с ним в «прятки», заслоняясь ее верхней половиной; потом прижала малыша к себе и стала читать ему сказку. При этом я поглаживала его маленькие пухлые ножки, а он весело смеялся, размякнув от удовольствия. И через несколько минут крепко заснул. Благовоспитанный Льюис все это время сидел у себя. Интересно, как он писает по ночам? Может ли встать и дойти до туалета в своей ванной? Меня он никогда не просит о помощи, а его родители ничего мне не объяснили. Инвалидность мальчика — табу. Я украдкой заглянула в его комнату: костыль стоял за спинкой кровати, в изголовье, а сам он увлеченно читал книгу в черном кожаном переплете; лицо его было бесстрастным, но губы шевелились, словно он повторял или заучивал слова. Странный ребенок: я ни разу не слышала

от него каких-нибудь жалоб или требований. Он никогда не задает вопросов и никогда не смеется. Как будто не хочет беспокоить окружающих.

У меня нет сил ни работать, ни читать. Лежу на кровати, закрыв глаза, и предаюсь воспоминаниям. Уношусь мыслями в Бретань, в лицей, к скорбной улыбке Морганы, к бурному морю, к своей комнате в нашем убогом домишке, хотя никак не могу понять, откуда берется эта ностальгия, то легкая и приятная, то печальная. Внезапно сажусь на кровати: мне послышался какой-то шум. Сначала звуки трения, потом скрип. Хорошо бы эти звуки доносились из сада, но нет — слух меня не обманывает: они доносятся из коридора. Боюсь пошевелиться: моя дверь приоткрыта. Слышу свой дрожащий голос: «Кто там?» Нужно бы встать, выйти из комнаты, но я парализована страхом. Да что ж это такое, черт возьми: мне восемнадцать лет, а я пугаюсь ночных звуков! Но тут раздался новый шорох, новый скрип. У меня ослабели ноги.

Выжидаю еще много секунд перед тем, как расхрабриться и встать. Хватаю тяжелый том Стивена Кинга, осторожно приотворяю пошире дверь и подхожу к лестнице. Различаю мигающий зеленый огонек внизу, на площадке «детского» этажа.

Прежде я никогда его не видела. Не спускаю с него глаз. Внезапно он перестает мигать и сменяется красным. Это сигнал лестничного подъемника. Ничего не понимаю: как он мог включиться сам по себе? Почему работает вхолостую? Пытаюсь преодолеть свой испуг. Это, конечно, поломка, и ничего больше… Однако за этими попытками успокоиться мне мерещится Льюис, ковыляющий по коридору со своим костылем и садящийся в кресло подъемника, чтобы… Чтобы что? Чтобы подобраться к двери моей комнаты и тайком подсматривать за мной в ночной тишине, шпионить? Я вспоминаю недавнюю картину: вот он лежит в кровати, под толстым одеялом, согревающим его больное тело, увлеченно читает свой роман и что-то бормочет. Кто же он на самом деле? Засыпаю, так и не ответив на этот вопрос, омрачивший мое спокойствие…

Я вздрагиваю: кто-то стучит в дверь моей комнаты. А я было погрузилась в чтение книги «Политические науки». Встаю, открываю. Это Джеймс. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить ситуацию: на часах четырнадцать тридцать, в такое время мой хозяин никогда не бывал дома. И никогда еще не стучал в мою дверь.

– *Sorry, Emmylou!* Надеюсь, я вам не помешал? Я заехал за одним досье. Ну как у вас дела — все в порядке? Подготовка к экзаменам не слишком трудна?

Ах, до чего же вы прекрасны!

Такой ответ, который первым приходит мне в голову, никак не соответствует ситуации, и я это вовремя осознаю. Но при этом еще успеваю подумать: хорошо ли я одета? На мне ли сейчас мой самый красивый джемпер небесно-голубого цвета с желтой каемочкой? А Джеймс… Ах, какой же он элегантный в своем черном костюме и белой рубашке с воротником, не застегнутым на верхнюю пуговицу! Узел галстука слегка ослаблен: воображаю, каким чувственным жестом он приспустил его.

— Да, все хорошо; готовиться, конечно, нелегко, но я надеюсь выдержать.

Достойный ответ! Я им горжусь: мое супер-эго не подкачало. Джеймс кивает:

— О, я уверен, что вы успешно сдадите экзамены. Вы напоминаете меня в студенческие годы, когда я занимался по десять часов в день, готовясь к экзаменам по адвокатуре — *the bar*. И выходил из дома лишь изредка, на пробежку.

Он стоит, прислонясь к косяку и сунув руки в карманы. Видно, погрузился в прошлое и хочет поговорить. Я пользуюсь этой паузой:

— Мне кажется, освоить адвокатскую профессию очень трудно, зато сейчас вы наверняка любите свою работу, не правда ли?

Он послушно кивает. А я замечаю, что мой английский улучшается и я уже смело веду на нем диалог. Вдобавок Джеймс умеет разговорить собеседника. И я продолжаю:

— Да, кстати: я хотела бы немного размять ноги, прогуляться, это помогло бы мне лучше усваивать прочитанное. Как можно выйти из резиденции? Наверно, с помощью пульта?

Джеймс отвечает все с той же свойственной ему любезностью:

— Скажу вам откровенно: послушайте моего совета и сосредоточьтесь лучше на занятиях. Лондон слишком соблазнительное и шумное

место, чтобы пропитываться его атмосферой. Не верьте в его привлекательность — это настоящая западня. У вас есть цель в жизни — держитесь ее, сколько хватит сил. Учение подобно монашеству — я сам прошел через это и знаю, что говорю, так что поверьте мне: для вас это единственно правильный путь. *To get you out of this*[22].

To get you out of this… я не знаю в точности, что таится за этим выражением и за тоном Джеймса, но явственно чую смутную опасность, угрозу. И эти слова — «чтобы пробиться» — я расценила не как профессиональную рекомендацию, а иначе: «Если вы не последуете моему совету, живой вам не выбраться»…

Я не решаюсь попросить Джеймса уточнить его слова. Я будто оцепенела. Но тут он мне подмигивает, и это меня успокаивает. Он дал хороший совет. Я в этом уверена.

---

[22] Сноски: 22
Здесь: чтобы пробиться *(англ.).*

Нынче я решила бодрствовать. Хочу выяснить, встает ли Льюис по ночам, подходит ли к моей комнате, чтобы подсмотреть за мной, уловить мое дыхание. Эта неприятная мысль и какое-то смутное ощущение опасности мучили меня весь день. Сейчас десять часов вечера; хозяева уже легли, но я слышу, как они разговаривают у себя в спальне. Внезапно раздается стук. Что-то упало — какой-то предмет, чье-то тело? Не знаю, но явно что-то тяжелое. Приникаю ухом к стене — как бы узнать, что там творится? Сквозь толстую перегородку, покрытую стекловатой и штукатуркой, доносится голос Моники. Он звучит пронзительно и раздраженно. Слышу низкий голос Джеймса, который пытается успокоить жену. Не понимаю сути их спора, однако повышенный тон и резкие выкрики свидетельствуют о размолвке. У меня нет никакого желания подслушивать; я жду, когда их голоса смолкнут, разглядываю лесных зверюшек на обоях и пытаюсь определить, кто из них кто, но меня сбивают с толку яркие краски — зеленый хвойный, темно-фиолетовый, ярко-красный, пронзительный оранжевый. Нет, я решительно предпочитаю просторной хозяйской спальне свою пятиметровую комнатенку — здесь мне не так одиноко, даже притом, что я не могу

полностью распахнуть дверь: она ударяется о кровать, стоящую у окна в сад. Слева от нее маленькое деревянное бюро с полочками наверху, справа — плоский шкаф, где можно повесить несколько одежек. Моя жизнь и мои потребности более чем скромны, и мне ясно дают это почувствовать.

Наконец в доме воцаряется тишина. Я осторожно спускаюсь по лестнице. Зеленый глазок не мигает, красный неподвижен. Заглядываю в приоткрытую дверь Льюиса, убеждаюсь, что он спит, и облегченно вздыхаю. Никак не решу, возвращаться ли к себе наверх: меня манит затихший дом. Прохожу по пустым комнатам. Сейчас я могу все осмотреть спокойно — мелочи, декоративную отделку. Дорогу мне указывают неяркие настенные бра — их света достаточно, чтобы кое-как разглядеть каждое помещение. В столовой, над пузатым буфетом темного дерева, висит большая картина, которая давно уже при каждой трапезе привлекает мое внимание. Это сельский осенний пейзаж: справа на заднем плане ферма, слева — стога сена. Он не сочетается с модерновой обстановкой комнаты и даже не очень красив, но на меня умиротворяюще действует именно его банальность. Так же как и

молитвенный уголок. В дневное время я не осмеливаюсь зайти и полистать фолиант, который там лежит: Моника практически не выходит из дома, если не считать ее занятий гимнастикой. Но сегодня вечером я решилась.

За весь месяц моего пребывания в этом доме я ни разу не видела, чтобы хозяева молились здесь. Они исповедуют свою веру скрытно. Обложка книги вызывает у меня интерес: она сделана из черной, очень плотной кожи. Касаюсь ее пальцами, но моя рука тут же непроизвольно сжимается: эта кожа напоминает человеческую, ее бороздят длинные бесформенные вены, образованные временем. Читаю на переплете: «The Holy Bible» — «Святая Библия». У моей бабушки тоже есть Библия, но она не имеет ничего общего с этим жутким фолиантом, будто всплывшим из глубины веков. На обложке написано:

> THE **LORD**
> Is my **STRENGHT** And **SONG**
> And He has
> Become my **SALVATION**
> **Exodus 15: 2**[23]

---

[23] Сноски: 23

Исход 15: 2. В синодальном переводе эта цитата звучит так: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением».

Все главные слова написаны жирными большими буквами; остальные выглядят так, словно нацарапаны острым ногтем, они пугают, внушают гадливость, как будто их выводил долгими часами какой-нибудь узник; как будто они напитаны кровью, текущей, а потом засохшей. Кровью усилия, раскаяния. Текст я перевожу довольно легко: «Господь мой есть сила моя и песнь души моей, Он — мое спасение». Мне, атеистке, эти слова ничего не говорят. Разве только одно: человеку требуется плечо, на которое можно опереться, дружеское окружение, убежище.

Открываю священную книгу. На истончившейся бумаге титульной страницы написано: «The Holy Bible, King James Version» — «Святая Библия, версия короля Якова». А я и не знала, что у Библии существуют какие-то версии. Ниже, в рамке, обнаруживаю пассаж, который пытаюсь перевести хотя бы приблизительно:

> Corinthians 13: 4–7
> Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not easily angered; it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the

truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

Коринфянам 13: 4–7: «Любовь терпелива и преисполнена доброты; любовь не завистлива и не хвастлива; она не высокомерна. Она не творит ничего беззаконного, ни в чем не подозревает зла. Не радуется беззаконию, но лишь истине. Прощает все, верит всему, уповает на все, претерпевает все!»[24]

Торопливо перелистываю следующие страницы, вижу другие пассажи в рамках, но не успеваю их прочесть: наверху отворяется дверь. Кладу Библию на место. Она внушает мне страх. Во что же они верят? Каковы их обряды, их молитвы? Дверь закрывается.

Любовь… Вправду ли она может все простить?

---

[24] Сноски: 24

Цитируется Первое послание к коринфянам, и синодальный перевод звучит так: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Занимаюсь глажкой целой стопки белых рубашек хозяина и вдруг испытываю неприятное ощущение человека, который гребет, сидя в лодке посреди бескрайнего озера. Здесь мне уже все кажется знакомым до мелочей. Каждый день — рутина, жизнь, подчиняющаяся одному неизменному образцу, одной незыблемой модели: дом, стоянка перед домом, сад позади дома. Супружеская пара, их безупречные дети, их «помощница» — сразу видно, услужливая и умеющая хранить тайны. Маленькая, идеально организованная вселенная, никаких сюрпризов. Люди ездят на работу, занимаются спортом, с неизменной улыбкой приветствуют соседей, дружат семьями, организуют общие ужины, на которые так редко находится время. Короче, ведут беззаботное, приятное, идеально налаженное существование. И меня уже больше не тянет переступить порог резиденции — я тоже погрузилась в эту всеобщую цепенящую летаргию. Усталость, изнеможение… Они правы, мои хозяева: здесь у меня есть все необходимое — работа, еда и крыша над головой. Кроме того, мне нечего тратить в городе, в кармане ни гроша. Я зарабатываю в неделю сумму, равную 50 франкам; отец с матерью ничего мне с собой не дали. А моей

месячной зарплаты едва ли хватит на недельный проездной в метро. К тому же, если прикинуть, у меня и времени нет на гулянки: сплошная работа с утра до вечера. Честно говоря, эта рутина меня устраивает: она успешно сдерживает мою ярость и мои тревоги.

От родителей ни одного письма. Впрочем, это неудивительно: дома им даже разговаривать не хотелось, не то что письма писать... А уж звонить за границу — сплошное разорение. Хозяева мне объяснили, что телефонные разговоры с Францией стоят бешеных денег. И попросили никогда не отвечать на звонки: Джеймса непрерывно осаждают всякие наглецы. Вот поэтому я тебе и пишу. Не такая уж это глупость — писать своей лучшей подруге, пусть и умершей. Ты ведь моя единственная связь с нашей прошлой жизнью. Так вот, мои богачи — сущие параноики, я тебе об этом еще не рассказывала. Сегодня утром Моника посоветовала мне отдать ей мое удостоверение личности, чтобы оно хранилось у Джеймса, в сейфе его кабинета. Я сочла это очень странным: удостоверение личности — мой главный документ. Заметив мое удивление, Моника объяснила: это, мол, из-за воров. Из-за воров? Я сделала вид, что согласилась с ее доводом, но мое

недоумение лишь возросло. Учитывая высоту стены резиденции, постоянно закрытые решетки, бронированные и всегда надежно запертые двери домов…

«Не заблуждайтесь, — сказала мне Моника. — Воры покушаются именно на такие хорошо защищенные места; они прекрасно знают, где есть пожива. На прошлой неделе они взломали дверь дома Евы и Джона — наших соседей, которые были на барбекю; они живут в дальнем конце резиденции. Да вы, наверно, знаете Нору, их помощницу по хозяйству. Ну так вот: украли их драгоценности и важные документы. Так что я делаю это ради вас, — добавила Моника. — Восстановить удостоверение личности очень сложно, это дорогостоящая процедура. Ну, представьте себе, что вам захотелось вернуться домой раньше срока по той или иной причине. Без документов вы здесь застрянете надолго — из Англии почти невозможно выехать, не имея при себе identity card*…»*

И я подумала: не хватало мне еще этой мороки. Пусть лучше мой документ полежит в их надежном сейфе. Отдала Монике свою карту и успокоилась.

И она, судя по всему, тоже.

Я люблю смотреть в *bow window* спальни Моники и Джеймса — из этого окна открывается идеальный вид на «Хидден-Гроув», на четыре соседних дома; все они прекрасно расположены, отделены друг от друга садиками и аккуратно подстриженными зелеными изгородями, из которых не выбивается ни один листок, ни одна веточка. Даже ветер, вздумавший растрепать их листву, сдается и улетает буйствовать куда подальше. Я вспоминаю жалкий родительский дом — развалюху, приткнувшуюся к соседней, такой же убогой, в окружении хилых деревьев, вызывающих только жалость. Мало того что у их обитателей нет денег, они еще вынуждены делить общие стены, а главное, слушать звуки, которые сразу не определишь, но которые назойливо лезут тебе в уши и не дают покоя. Когда сосед — который любил опрокинуть рюмочку, как у нас стыдливо выражались, — вдрызг напивался по субботним вечерам, его хриплая брань в адрес всех и вся долетала к нам через стену гостиной и родители вздрагивали, но не смели сказать ему ни слова. «Ничего не поделаешь…» — говорили их понурые позы. Меня это приводило в ярость, мне хотелось колотить в стену, оклеенную выцветшими обоями, и вопить во весь голос,

пока не охрипну, чтобы он наконец замолчал. Я вспоминаю об этом с ужасом — именно из-за таких моментов у меня в душе поселился демон тревоги.

А здесь, в Хай-Барнет, воздух прозрачен и чист. В саду дома справа, ближайшего к нашему, замечаю Митчела с девушкой. Кто это — его приятельница или такая же, как я? На нашем барбекю я ее не видела. А этот Митчел — он же Мишель — очень симпатичный дядька, непринужденный такой. Мне понравилось, что он со мной говорил как с гостьей, а не как со служанкой. Джеймс и Моника — вполне милые люди, но не такие сердечные. Повезло ей, этой девчонке! Вообще-то, я еще в детстве заметила, что все Мишели, как правило, симпатичны. Например, самые приятные друзья моих родителей носят имя Мишель. Патрики тоже люди неплохие, но до Мишелей им далеко. Как правило, у них вьющиеся волосы, круглые головы, усы и мягкие, приятные голоса. Надо будет посмотреть этимологию этого имени, когда вернусь к себе в комнату. А этот *Мишель* в своем ухоженном саду только что погладил девушку по плечу. Да, это настоящий Мишель, он умеет заботиться о других!

Митчел — это производное от имени Михаэль, которое на иврите означает «Богоподобный». В библейских текстах святой Михаил — один из трех архангелов, посланных Господом на землю. Михаил — повелитель всех ангелов, что и объясняет популярность этого имени в католических странах. Его часто изображают крылатым рыцарем.

«Повелитель всех ангелов». Да, в этом гнезде богачей он должен играть именно такую роль. Я с завистью смотрю на семейство наших соседей. Жаль, что я еще незнакома с их помощницей по дому, — впрочем, она наверняка неболтлива. Здесь все мы, служанки, по горло заняты своей работой.

Странное мне досталось семейство: я чувствую какое-то несоответствие между родителями — симпатичный отец и все более отрешенная мать в постоянном стрессе. Правда, она вроде бы горячо заботится о детях. Вот моя мать куда меньше занималась нами. А Моника часто возит Льюиса и Саймона к врачу, то и дело заглядывает по вечерам в их спальни, чтобы посмотреть, все ли в порядке, прислушаться к их дыханию, проверить, тепло ли им. Она склоняется над их кроватями, над их детскими телами. Сколько раз

я заставала ее там, когда она подносила руку к их губам, желая убедиться, что они дышат. Завидую им — не каждого ребенка лелеют так заботливо, как она своих. Для меня жизнь в их семье — это возможность урвать для себя толику внимания и порадоваться ему, особенно когда Джеймс говорит со мной как с равной, расспрашивая о моих занятиях, о конкурсе на журфак, о моей заветной мечте овладеть профессией журналиста.

Сегодня ужин прошел непривычно быстро, детей рано отправили спать. Моника явно была не в форме — она тоже поднялась к себе в спальню. Может, это потому, что я проявила за столом неуместное любопытство, спросив, кто живет в пятом доме? До сих пор я видела только четыре обитающие здесь супружеские пары. Моника коротко ответила:

— Никто, дом продается.

И точка. Я помогла Джеймсу собрать посуду со стола и загрузить ее в посудомойку; при этом мы то и дело сталкивались, и нас это смешило: «Пардон, я поставлю сюда эту глубокую тарелку; извините, я положу туда эту вилку…» Я подумала: «Какой он обаятельный!» — и тут же сама устыдилась этой мысли. Он ведь взрослый человек, мой хозяин, женатый мужчина, богач. А я всего лишь «девушка для услуг».

Покончив с посудой, Джеймс включил большой телевизор в гостиной — я никогда еще не видела такого широкого экрана. И задержалась на пороге, чтобы посмотреть передачу. Прошло несколько минут; Джеймс обернулся, удивленно взглянул на меня и с улыбкой спросил:

— Хотите остаться и посмотреть фильм? Сегодня показывают «Все без ума от Мэри», там играют

Бен Стиллер и Кэмерон Диас, это довольно занятно! — И, взяв телепрограмму, прочел вслух описание картины, в котором я мало что поняла: — «Тед, лузер, решает разыскать свою первую любовь — блистательную Мэри. Для этого он нанимает частного детектива Пэта Хили. Хили, убедившись в том, что имеет дело с кретином, едет в Майами и находит там Мэри. Она красива, очень мила, занимается с отсталыми детьми и, главное, не замужем. Решив приберечь Мэри для себя, Пэт докладывает Теду, что она безобразно растолстела, парализована и имеет четверых детей. Однако другой герой, Такер (по профессии архитектор), тоже пылко влюблен в Мэри. И он объединяется с Хили, чтобы избавиться от Теда, который в конечном счете решил сам поехать в Майами…» — Тут Джеймс поднял брови и сказал: — Недурно, правда?

Его комичная гримаса рассмешила меня. Сейчас я была за тысячу миль от программы по политологии, которую собиралась зубрить. Мне ужасно нравится легкомысленная веселость Джеймса. По дороге в Англию я твердо обещала себе преобразиться, стать новой, современной девушкой, какие встречались мне в коридорах лицея: эдакой неприступной юной особой, у

которой все в жизни тип-топ, — с длинными, эффектно взлохмаченными волосами, в пуловере с треугольным вырезом (широковатым, но очень даже *sexy*) и в дорогущих джинсах из грубого, искусственно состаренного хлопка, о каких я могла только мечтать. В общем, такое якобы небрежное совершенство… Увы, мои дешевые тряпки вечно выглядели убогими и безвкусными. Как я ни старалась, мне не удавалось придать им тот самый *небрежно-элегантный* шик.

Но может, здесь все пойдет иначе…

В начале фильма мне было как-то не по себе. Я примостилась на краешке дивана, не смея даже откинуться на спинку. Мне уже доводилось слышать истории об отцах семейств, которые кадрят нянек своих детей. Но у Джеймса я не заметила таких низких намерений. И вскоре расслабилась, представила, как вела бы себя самая хорошенькая девчонка из моего лицея, провела рукой по волосам, почувствовала, какие они мягкие и шелковистые, поджала под себя ноги и стала наслаждаться фильмом, хохоча в самых смешных местах…

Нынче вечером я не видела Джеймса. Моника рано ушла спать, и я решаю воспользоваться затишьем, чтобы позаниматься. Но вскоре начинаю клевать носом, сидя над записями, и, чтобы встряхнуться, берусь за главу о холодной войне в программе по истории. Внезапно за стеной, отделяющей мою каморку от просторной спальни хозяев, раздается легкий шум. Настораживаюсь, вслушиваюсь, прижав к груди свои конспекты и боясь шевельнуться. Время — 23:43. За стеной кто-то не то плачет, не то смеется. Чем это они там занимаются — любовью? Или ссорятся? Все мое внимание сосредоточено на стене, отделяющей меня от их спальни; тело ноет от напряжения, взгляд уперся в эту самую стену, я боюсь, что совершила какой-то промах, боюсь этих незнакомцев в соседней комнате. Супружеская спальня, как и множество других таких спален, наверно, скрывает какие-нибудь постыдные тайны. Может, эти звуки станут громче, разборчивее? Различаю голос Моники — она рыдает, рыдает неудержимо, прямо сердце разрывается. Нет, не буду я слушать, это их дела, не мои… Хоть бы кто-нибудь утешил ее, заставил замолчать! Меня одолевает тревога: что, если причина их ссоры — я? Потому что смотрела

фильм вместе с ее мужем… или он рассказал ей о наших дружеских отношениях… Я мало что понимаю в супружеских проблемах: мои родители никогда не спорили, не выказывали своих чувств и уж тем более не ссорились при нас, а изображали единое целое — немногословную и работящую супружескую пару… Внезапно за стеной все стихло. И меня одолевает сон, расслабивший мое напряженное тело.

На календаре вторник. Начинается завтрак. Джеймс уехал, оставив после себя на столе колючие крошки. Я режу фрукты на дольки. Эта неделя длится бесконечно. Вдобавок Моника выглядит как-то странновато. Хотя… если ее не знать, это почти незаметно. Стараюсь не пялиться на нее, наблюдаю исподтишка. Ее волосы лежат сегодня чуть иначе: одни завитки не совсем ровные, другие, как бы это выразиться, выглядят приплюснутыми, а глаза… Они открыты не так широко, как всегда, и под ними пролегли тени. Саймон сегодня очень возбужден, вертится во все стороны, громко распевает, и Льюис гладит его по руке, чтобы утихомирить. Братья очень привязаны друг к другу; похоже, что старший заражает младшего своим спокойствием. Хотя ему всего десять лет, он ведет себя как взрослый.

Моника избегает моего взгляда, молча прихлебывает свой чай. А я занимаюсь обычным утренним делом: режу на кусочки бананы, яблоки, апельсины, грейпфруты, клубнику — в этом деле я уже чемпионка. Раскладываю фрукты по белым фаянсовым чашкам. Потом споласкиваю руки и вытираю их голубым полотенцем с белой каймой. Все едят, никто меня не благодарит.

Когда Моника возвращается со своей гимна-

стики, я стою на коленях посреди груды грязного белья, сортируя его: одна часть пойдет в стиральную машину прямо сейчас, вторая — чуть позже. А она смотрит на меня сверху вниз — шикарно одетая, красивая, свежая, как роза. Меня подмывает спросить, почему она швыряет белье своих домочадцев на пол у лестницы, а не оставляет у порога их спален, — так было бы менее унизительно. Но ее невинный, радостный вид заставляет меня прикусить язык. Наверно, она просто не сознает, как это бестактно по отношению ко мне, считает вполне нормальным. «Просто удивительно!» — думаю я.

Сейчас от ее утреннего мрачного настроения не осталось и следа — это совсем другая Моника.

Она с облегченным вздохом снимает кроссовки и ставит их у двери. Входит в столовую, где я расставила гладильную доску, и молча располагается за большим обеденным столом. Вынимает из своей шикарной дамской сумки ежедневник, распухший от записей, — эдакое чудище в черной кожаной обложке. Надевает очки в черепаховой оправе и погружается в чтение этой своей книги жизни. Я ничего не вижу со своего места, а ведь мне страшно хочется разузнать о ее отношениях с людьми, о ее занятиях, о том, где она бывает

и с кем встречается, какие у нее обязанности и развлечения, — словом, обо всем том, что она подчеркивает или вычеркивает в своем блокноте. Хорошо бы полистать этот пухлый кондуит, который выглядит таким сверхважным. Но нет, невозможно даже определить, что именно занимает мою хозяйку, — сегодняшняя дата или завтрашняя. Внезапно она обхватывает голову руками, и ее лицо мрачнеет. Потом отлистывает назад несколько страниц, просматривает записи, сравнивает их, и вид у нее при этом крайне недовольный. Вырывает один листок и, скомкав, бросает на стол.

Вздыхает. Встает, идет в кухню, наливает себе стакан воды и возвращается. Подходит к огромному окну гостиной. Хоть убей, не понимаю, что может так утомить неработающую женщину. Я уже рассортировала белье и собираюсь гладить выстиранные рубашки; это займет у меня часа два, не меньше, так что мне некогда плакаться на свою судьбу. Моника снова подходит к столу и к предмету своего гнева. Сердито захлопывает ежедневник, прячет его в сумку от «Ив Сен-Лоран» и поворачивается ко мне со словами:

— Просто невероятно, сколько всего мне приходится делать за день, а в сутках только двадцать

четыре часа!

Не могу понять, чего она хочет, — неужто моего сочувствия? Но отреагировать я не успеваю — она уже вышла.

Скомканный листок, выброшенный из жизни Моники, остался на столе. Я сейчас глажу платья своей хозяйки, это более деликатное и менее бессмысленное занятие, чем утюжить мужские сорочки, скроенные все на один манер. Однако мой взгляд то и дело обращается к вырванному листку. У меня давняя слабость ко всякому мусору и отбросам. Прислушиваюсь, не идет ли хозяйка, но нет — верно, прилегла отдохнуть; по крайней мере, я бы на ее месте в случае депрессии так и поступила. Я беззвучно усмехаюсь. Отставляю утюг, нагибаюсь над столом, хватаю этот клочок бумаги, разглаживаю его в безмолвии комнаты и читаю запись на кремовом фоне, в черной рамке: «Вторник 15 октября — 17 час. М.».

15 октября — это у нас сегодня. Но Моника, видимо, решила, что день уже кончился.

«17 час. М.»?

На часах десять тридцать.

«17 час. М.».

Вот уж загадка так загадка. Я снова комкаю листок, кладу его примерно на то же место и берусь

за утюг. Он кажется мне тяжелым, как кандалы арестанта.

Мальчики возвращаются домой. Льюису нужно помочь подняться в его комнату. Саймон бежит ко мне, чтобы обнять. И тут вдруг до меня доходит, что я ничего не знаю о том, где он проводит день. В каком районе Лондона? Какие у него там няни и приятели — его сверстники? И во что они играют? На часах уже половина четвертого, можно сделать передышку. Какой он милый, этот малыш, с его улыбкой, с его нежной кожей! В первые дни Моника пристально наблюдала (а вернее, бдительно следила) за нашим общением ежеминутно, но с тех пор прошло почти два месяца, теперь она расслабилась и, похоже, прониклась ко мне доверием. Я стараюсь обходиться с Саймоном как можно мягче; я наконец осознала, что такое маленький ребенок. Дома я никогда не занималась своей младшей сестрой, мы жили каждая сама по себе. Наше общение сводилось к обмену оплеухами или к потасовке из-за какой-нибудь ерундовой вещицы. Но с Саймоном я обращаюсь очень заботливо. Обожаю запустить руку в его волосы и за несколько секунд привести их в порядок. При этом он со смехом старается увернуться от меня.

Внезапно я примечаю за его правым ухом темно-коричневое пятнышко величиной с мелкую

монету. Что это — родимое пятно? Прежде я никогда его не видела. В дверь заглядывает Моника и с самой что ни на есть любезной улыбкой просит меня накормить малыша полдником, а потом искупать. Она приготовила мне чай, он ждет меня в кухне — какое трогательное внимание! Я благодарю ее. Моника делает шаг к нам, но тут же останавливается: похоже, она едва сдерживается, чтобы не прижать к себе малыша. Льюис готовит уроки в своей комнате. У Моники накрашены губы, сейчас она выглядит счастливой. А я бдительно слежу за временем, не забывая о записи на скомканном листочке; наконец в окошечке циферблата выскакивают цифры — 17:00. Входная дверь громко хлопает. Я веду Саймона на второй этаж, в детскую, чтобы проследить за его мамашей сверху из окна. Похоже, Моника направляется к дому этого симпатичного соседа, Митчела. Льюис вопит во все горло, призывая меня: «Иди скоре-е-ей!» — он оцарапал руку. Я с сожалением отрываюсь от *bow window*. «17 час. М.». Что означает это «М.» — может, Митчел? Тогда почему же она не написала полностью — *Митчел*?..

Меня разбудил яркий свет в окне.

Странное дело: вчера я не затворила ставни — забыла, черт бы меня побрал! Обычно я крепко сплю, только когда все щели, в которые может проникнуть свет, прочно закупорены, иначе мне кажется, что у меня украли частицу ночи.

На улице стоит прекрасная погода. Похоже, я проспала не меньше десяти часов. Не то сон, не то кома…

Наконец полностью прихожу в себя.

Ночью мне приснилась Моргана. Она стояла передо мной, говорила со мной, и я ее спрашивала: «Да разве ты жива?» А она смотрела на меня так, словно не понимала, о чем это я…

Мне вдруг почудилось, что меня обволакивает нежное, приятное тепло. Я не испытывала ничего подобного со дня ее смерти и оттого ощутила странное, сумасшедшее облегчение.

Она жива!

Но тут я открыла глаза.

Увы, этот сон — самый печальный в моей жизни.

— А вы всегда хотели стать журналисткой?

Джеймс нечасто возвращается к ужину, но уж когда приходит, то разворачивается за столом вовсю и интересуется другими, особенно мной. А Моника всегда выглядит какой-то озабоченной. Как будто ей где-то что-то жмет. Я, вообще-то, не люблю говорить о себе, но раз уж приехала сюда, чтобы овладеть английским… И я храбро отвечаю:

– *Yes*, я с девяти лет мечтаю стать журналисткой: для меня это способ прожить много других жизней, а не только свою.

Моника смотрит на меня как-то странно, — похоже, ей не терпится уйти, она нервно теребит золотой перстень в виде змейки, обвившей ее указательный палец, — так и чудится, что змейка живая, что ее чешуйки двигаются и тело медленно душит свою жертву.

Интересно, повезет ли мне когда-нибудь носить такое же ядовитое украшение, на которое все окружающие будут смотреть с завистью? Не могу понять, кто из нас двоих больше раздражает Монику, я или ее супруг, но сейчас она совсем не похожа на ту лучезарную красавицу, жизнерадостную и уверенную в себе, которая так радушно приняла меня у себя в доме в конце августа.

Я умолкаю, — похоже, пора перестать быть в центре внимания. Джеймс расспрашивает сыновей, как они провели день. Я встаю, чтобы убрать со стола, уношу в кухню остатки ужина. Моника входит туда следом за мной. Молча открывает холодильник, достает десерт и возвращается в столовую. Мне не удалось перемолвиться с ней словом, привлечь ее внимание. После ужина надо будет написать Виржини — она прожила в этой семье целый год и, надеюсь, посоветует мне, как себя вести. Может, я держусь не так, как полагается услужливой помощнице. Или же у Моники есть какие-нибудь тайные, гнетущие заботы? Я думаю о Льюисе. День ото дня он вызывает у меня все больше беспокойства; чудится, будто вокруг него соткалась сеть из тонких, но прочных нитей, подобных тем, что выпускают шелковичные черви, и она душит, губит его. Я слышу его шаги: теперь они стали чуть тяжелее, и костыль стучит в пол сильней, чем раньше, словно его владелец хочет заглушить этим звуком свою нарастающую слабость.

Выхожу из комнаты Саймона — наконец-то я смогла его угомонить, и он крепко заснул. Моника подходит ко мне и каким-то нервным тоном приказывает получше укрыть Льюиса. Потом

спускается на первый этаж, и я слышу, как она громко говорит о чем-то с Джеймсом. Боясь, что мальчик услышит пререкания родителей, я закрываю дверь, сажусь у кровати и разглядываю его. Мне чудится, что кожа Льюиса стала более прозрачной, на ней явственно проступают голубые жилки. Этот мальчик — точная копия обоих своих родителей, каждая его черточка напоминает либо Джеймса, либо Монику, прямо с ума сойти, до чего похож. Льюис вопросительно смотрит на меня, словно не понимает, что я тут делаю. Он держится так отстраненно, а мне хочется поговорить с ним, как-то сблизиться…

— Тебе удобно, Льюис?

— Да, спасибо.

— Как у тебя дела в Центре — все хорошо?

— Да.

— А какой самый приятный момент был у тебя сегодня?

— Мм… Не знаю.

— Ну, есть же какой-нибудь предмет, который тебе нравится больше других?

Льюис колеблется. Потом, видя мой интерес, все-таки отвечает:

— Курс *теологии*.

Я не понимаю это слово.

Льюис повторяет его несколько раз — *теология, теология* — и наконец разъясняет, что это изучение религии.

Странное дело: неужели мальчик его возраста может увлекаться такими сложными материями? Хотя… если он живет в верующей семье, тут нет ничего необычного. Прибираясь в его комнате, я уже приметила на прикроватном столике громоздкую Библию, спрятанную под стопкой детских книг. Указав на нее, я предлагаю Льюису почитать вместе какой-нибудь отрывок. Но его лицо застывает.

— Я предпочитаю читать один.

После чего он желает мне спокойной ночи.

Привет, Эммилу!

Ты хорошо сделала, что написала мне. Это правда, у Моники есть свои заскоки, она и со мной иногда так же обходилась. Наплюй и забудь, как я это делала. К счастью, там есть Джеймс, он куда любезней. Бедный парень – похоже, не очень-то он счастлив с такой женушкой. Так что полагайся на него. Когда я работала у них в «Хидден-Гроув», Льюис еще не ходил с костылем. Может, у него не такая уж серьезная болезнь? А как там Саймон? Я скучаю по мальчикам. У меня нет их последних фоток – может, стащишь хоть одну и пришлешь мне?

А в остальном все тип-топ: мой CAP[25] *себя оправдал, я тружусь вовсю и зарабатываю себе на хлеб!*

Крепко целую,

Виржини

Складываю письмо. И хвалю себя за то, что придумала такой хитрый способ переписки: чтобы не

---

[25] Сноски: 25

CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) — диплом о профессиональной подготовке *(фр.)*.

пробудить подозрений у Джеймса, отсылающего из Лондона мои письма, я указываю на конверте адрес тетки Виржини, которую зовут Кристина Лебиан. Джеймс заметил мне, хитро подмигнув, что я, как видно, очень люблю эту свою подружку Кристину. На что я ответила: «Это моя лучшая подруга!» — и тоже подмигнула.

Отправляюсь наводить чистоту в хозяйской ванной. На часах только двадцать пять минут десятого, а я уже с ног валюсь от усталости. И все же радуюсь своей удаче: работа у богачей — хороший способ преуспеть; здесь я нашла тот имидж, который хотела бы примерить на себя. Это, конечно, не идеал, но я многого и не ждала. Обнаруживая те или иные недостатки, я узнаю о сложности супружеских и семейных отношений. И хочу как следует изучить мир своих хозяев, чтобы со временем мне самой было легче вписаться в подобную жизнь.

Протираю зеркало над раковиной и вижу в нем себя — банальная мордашка, не то чтобы красавица, но и не уродина, эдакая типовая модель девичьего лица, где все — нос, глаза, рот — стандартных размеров, ничто не выдается, а значит, ничто и не привлекает. Надо бы поработать над своей внешностью, глядя в зеркало.

Может, мне повезет найти свое счастье вот в этом стенном шкафчике? Отложив губку для стекол на край раковины, осторожно приоткрываю его дверцы, просматриваю флаконы и баночки с косметикой в поисках средства для улучшения своего внешнего вида. Ну и конечно, вот оно, самое главное — духи «Шанель № 5». Большего и желать нельзя.

Это трехгранный флакон из прозрачного стекла, с белой этикеткой и черными буквами на ней. Французский шик в английском доме… Я никогда еще не нюхала такие дорогие духи. Отвинчиваю крышечку и с восторгом вдыхаю чудесные ароматы лимона, ландыша, роз (как в саду моего деда); к ним примешивается запах ванили. И какие-то другие запахи, которые я даже не могу определить. За этим флаконом вижу черный блестящий тюбик помады — великолепной помады, сулящей красоту и любовь. Хватаю его, открываю, медленно выдвигаю вверх пунцовый, жирный, манящий столбик. Провожу им по нижней губе, нажимая посильней, чтобы помада легла ровно. Это делает мое лицо в высшей степени сексуальным. Проделываю ту же операцию с верхней губой; тут самое трудное — аккуратно обвести ее контур, не вылезая за край; от детского рисунка

к женскому. Мой облик меркнет, исчезает: все затмил этот рот — пунцовый, соблазнительный, придающий лицу неведомый доселе шарм. *Ее* шарм. И мне это нравится. Я улыбаюсь — и вот уже в зеркале не я, а кто-то другой.

Продолжаю обследовать шкафчик и за большой банкой увлажняющего крема обнаруживаю прозрачный флакон с аппликатором.

Интересно, что в этом флаконе?

На стекле никакой этикетки — ни названия, ни ингредиентов. Легонько встряхиваю его; рыжевато-коричневый цвет жидкости вызывает в памяти краску для волос, которой пользовалась мать, — у нее уже в двадцать лет появилась седина. Она столько говорила об этом, что я в конце концов стала бояться наступления двадцатилетия. Еще бы: выглядеть старухой, будучи такой молодой! Интересно — неужели Моника красит волосы? Может, в этом и таится секрет ее ярко-каштановой шевелюры, ее элегантной моложавости? Или это краска для Джеймса? Я как раз собираюсь вылить несколько капель в раковину, чтобы разрешить загадку, когда вдруг слышу шаги на лестнице. Торопливо запихиваю все обратно в шкафчик и облизываю накрашенные губы, чтобы скрыть следы моего воровства. В

комнату входит Моника; до чего же классно она выглядит в своем спортивном ярко-синем костюме! Волосы стянуты на затылке белым бархатным шнуром. Длинные тонкие руки напоминают руки Барби. Высокая стройная фигура на миг застывает в дверях: хозяйка застала меня врасплох перед своей «сокровищницей»! Подходит ближе, приглядывается ко мне. И с громким смехом стирает с моей щеки размазанные следы ее украденной помады. Я в ужасе застываю, не в силах двинуться с места. Меня жжет стыд, как воровку, застигнутую на месте преступления. А Моника выходит из ванной, весело бросив напоследок:

— Эммилу, продолжайте, как будто меня тут и не было!

Во всем, что от меня скрывают хозяева, чудится нечто тревожное. Хотя, может, это объясняется их тактом, желанием не смущать меня, или забывчивостью, или пренебрежением: мол, к чему ей знать то или это? Однако сомнение очень любит такие умалчивания — оно проникает в сознание, как медленно действующий яд, и остается там. Мое неведение касается буквально всего, кругом сплошные загадки. Почему у Льюиса больные ноги и ему все труднее и труднее ходить? Неужели у Моники и правда свидания с Митчелом? Куда родители увозят детей на весь день и кто ими там занимается? Как выйти из резиденции?.. Ничего этого я до сих пор не знаю. Мне так и не удалось познакомиться с девушкой-помощницей, работающей у наших соседей, как не удается и выяснить, кто те неизвестные люди, что бесшумно являются к нам раз в неделю. Я до сих пор не поняла, какую религию исповедуют мои хозяева, во что они веруют… Иногда мне на ум приходят мрачные мысли, порожденные чтением статей о всяких тайных сектах и об их свихнувшихся адептах, которые решительно порывают с обществом, чтобы всей душой отдаться своей вере — по их мнению, единственно истинной. Почему Льюис отказался читать Библию вместе со мной, что его

смутило? Мало мне уборки, стирки и глажки, да еще стресса и усталости от подготовки к экзаменам, так меня еще и грызут все эти тревожные раздумья.

Моника всегда находится рядом со мной. Она нигде не работает, но нуждается в помощи по дому, по уходу за детьми — чтобы «разгрузиться», как выразился Джеймс. Разгрузиться — от чего? Я делаю в доме почти все, а она почти ничего. Слышу, как она возится в кухне, и решаю выйти из ее комнаты — хочу попытаться завязать с ней разговор. Но сперва направляюсь в «молитвенный уголок», чтобы прибрать там. Смахиваю пыль с низкого сиденья, исподтишка наблюдая оттуда за своей хозяйкой. Интересно, следит ли она за мной? Нет. В этом безмолвном доме, где музыка никогда не сотрясает воздух, я слегка передвигаю стул — может, хотя бы скрежет его ножек по кафельному полу вызовет у нее какую-нибудь реакцию?

— Эммилу, у вас тут все в порядке? — спрашивает она, заглянув в дверь.

— Да, спасибо; это место вдохновляет на размышления, — отвечаю я, указав на уголок для молитв.

– Thanks!

А я добавляю, кивнув на Библию:

— У моей бабушки дома точно такая же!

Моника хмурится, откидывает назад густую прядь: этот жест означает, что она чем-то недовольна и готовится все расставить по своим местам.

— Гмм… Точно такая же? Трудно поверить!

Она возразила слишком резко и, осознав это, добавляет, сощурившись:

— У нас единственно верная религия.

— Простите, но я всегда думала, что вера для всех одна! — говорю я с видом искреннего огорчения и неподдельной наивности.

— Эта книга называется «Библия короля Якова», Библия протестантов, перевод тысяча шестьсот четвертого года.

Она произносит это четко и раздельно, чтобы я не упустила ни слова из ее урока по истории религии. Сейчас Моника явно расположена к общению, и я спешу воспользоваться ее желанием поделиться со мной информацией:

— А почему король заказал для себя этот перевод?

— В те времена в Англии существовало несколько версий Библии, и у каждой были свои адепты, а это вело к религиозным распрям. И тогда ко-

роль Яков Первый приказал сделать перевод на английский в одной-единственной версии, доступной пониманию всех его подданных, дабы покончить с религиозными разногласиями и объединить страну.

Моника говорит все это с неподдельной страстью. Для женщины-домохозяйки она хорошо образована. Многое из ее объяснений ускользает от моего понимания, но это не важно — главное, мне полегчало. Слава богу, я угодила не в секту, а к протестантам, пусть даже истово соблюдающим все каноны своей веры…

Прохожу мимо кабинета Джеймса. Уже темно, все спят, нигде ни звука. Притрагиваюсь к деревянной двери, думая, что она заперта, но нет, створка поддается. Нажимаю на нее чуть сильнее… Мои пальцы уже могли бы пройти в щель; это меня возбуждает, мне хочется узнать, что там, за дверью, — расширить эту щель, помогая себе другой рукой, и заглянуть внутрь. Внезапно края щели смыкаются на моих пальцах; мне больно, я перепугана до смерти, сейчас мои кости будут раздроблены; я с трудом выдергиваю правую руку, хватаясь за нее левой, и боюсь даже взглянуть на пальцы. Убеждаюсь, что рука цела; боль прошла, но страх все еще не отпускает меня. Нужно развернуться и идти наверх, в свою комнату, но тело отказывается повиноваться, оно двигается в темноте, как автомат. Сквозь широкое окно в дальнем конце гостиной я вижу сад — там бушует гроза, ветер безжалостно гнет из стороны в сторону черные древесные стволы. У меня замирает сердце, из горла вырывается вопль.

И тут в дверном проеме внезапно возникает громадная тень; мой воспаленный мозг различает мощные руки, квадратные плечи, широко расставленные, прочно стоящие ноги. У меня нет сил шагнуть ни вперед, ни назад. Судорож-

но шарю по стене в поисках выключателя: мне нужен свет, я хочу видеть, я не хочу бояться, я не вынесу этого ужаса! Наконец мой палец находит тоненький стерженек; поднимаю его, но тщетно; раз за разом щелкаю им, и наконец — слава богу! — из-под абажура брызжет свет. Передо мной стоит Джеймс. Призрак — это он.

Я одновременно и перепугана, и успокоена, не знаю, что делать — плакать или смеяться… А вот Джеймс знает. Он не улыбается. Берет меня за руку, привлекает к себе, обнимает. И мой ужас растворяется в тепле его объятия, сменяясь удивлением. Он приподнимает мой подбородок. Неужели хочет поцеловать? Но нет — он отступает, жестом призывая к молчанию. И нас окутывает темнота — электричество сгинуло, Джеймс тоже. А я осталась одна, наедине со своим испугом.

Собираюсь с силами, чтобы подняться в свою комнату, — сейчас она мне кажется надежным убежищем на верхушке донжона, но путь туда нескончаем: целых два этажа, целых двадцать ступеней. Я судорожно цепляюсь за дубовые перила. Взбираюсь на второй этаж, и тут мои ноги отказываются идти дальше, а рука — которую я ни о чем не просила — отворяет дверь комнаты

Саймона. Я подхожу к малышу. Он лежит на спине; я нагибаюсь к нему и вижу за его правым ушком то самое пятно — оно явно увеличилось. Осторожно прикасаюсь к нему: оно не выпуклое, просто такая вот отметина! Я отступаю на шаг и вдруг вижу, как вокруг его головки расплывается темный ореол… Что это — неужели кровь?! Пытаюсь закричать, позвать его родителей, но не могу выдавить из себя ни звука. Прикасаюсь пальцем к пятну, нюхаю его, лижу — нет, это не кровь, не такая густая жидкость, вещество скорее напоминает подцвеченную воду, акварель, краску для волос. Надо бы разбудить Саймона, но малыш так сладко спит, улыбаясь во сне и чуть похрапывая. Внезапно на мое плечо ложится чья-то рука. Я теряю силы, готова упасть в обморок, и в этот миг мне приходят на память уроки моей любимой учительницы литературы — когда-то мы изучали с ней все степени страха, отображенные в словарях, и она сказала: «Испуг — легкое чувство, страх — более сильное, а ужас — невыносим». Я тогда записала это на листке и вообразила, что все поняла. Хотя на самом деле не уразумела ровным счетом ничего. Я ощущаю у себя на затылке чье-то дыхание. За спиной у меня стоит Моргана, она прижимается подбородком к ложбинке на

моей шее и шепчет мне на ухо: «А теперь пора возвращаться!»

Меня вырывает из сна приступ тошноты. Кажется, будто я очнулась после неспокойной комы. Смотрю на свой будильничек в пластмассовом корпусе — 03:12. Лежу неподвижно, руки по швам, пытаюсь прийти в себя. Спать больше не хочется — стоит закрыть глаза, как вспоминается ночная жуть. Включаю прикроватную лампочку и гляжу на то, что мне, слава богу, знакомо, — на обои. Взгляд блуждает по цветным изображениям сплетенных меж собой зверей, пытается выявить, определить их породу. Моя жизнь никак не походит на сказку, но я не из тех, кто часто видит страшные сны. И все же невыносимый ужас недавнего кошмара продолжает леденить кровь в моих жилах. Голова разламывается от боли. Встаю, делаю что-то вроде гимнастики, стараясь избавиться от мрачного наваждения; правда, на моих нескольких квадратных метрах не очень-то разойдешься, но сейчас я предпочитаю быть здесь, а не где-нибудь еще в этом доме.

Моя кровать стоит у окна — не совсем удачное место: мне явственно слышатся завывания ветра. Наверно, это и нарушает мой сон: изоляции не хватает. Пытаюсь отодвинуть кровать подальше, но мне удается оттащить ее сантиметров на двадцать, не больше. Смотрю в освободившийся

проем. И продолжаю размахивать руками и ногами — надо же восстановить в них циркуляцию крови.

Но тут я замечаю, что в одном месте, прямо над плинтусом, обои слегка отстали. Такая небрежность меня удивляет: в этом доме все безупречно… Ложусь на кровать лицом вниз, чтобы лучше разглядеть это место, осторожно тяну за отставший край… и вдруг вся полоса обоев, целиком, падает со стены, оставив вместо себя шершавую белую штукатурку. Я вижу нечто похожее на карандашную надпись. Всматриваюсь: почерк неразборчив, прочесть невозможно — слишком темно, а поднести сюда лампочку от изголовья кровати тоже не получается. Я дотрагиваюсь до надписи кончиком пальца: она слегка врезана в стену. Но тут на меня наваливается безумная усталость, и я снова ложусь в постель. А *это* рассмотрю завтра…

— Эммилу, *hi!* Эммилу, *hello!* — зовет голос из-за двери.

Это Моника. Значит, я не услышала будильник; вскакиваю, торопливо натягиваю джинсы и будничный джемпер. Придвигаю кровать к стене. Вот она я! *Morning and so sorry…*[26] Спускаюсь по лестнице; ноги заплетаются от усталости, каждый шаг дается с трудом. Руки онемели, не сгибаются. Я живу здесь уже семьдесят четыре дня, а значит, спускалась по этой лестнице примерно двадцать три раза в день и триста пятьдесят раз проходила мимо этой буколической картины в столовой. *Morning!* Моника с подчеркнутым усердием режет фрукты на дольки: я понимаю этот немой намек. При виде Джеймса у меня бурно колотится сердце: вспышками возвращается мой ночной сон — его силуэт, тепло его тела. И теперь мне очень неловко. А он так шикарно выглядит в своем черном костюме и белой рубашке от «Диора» — кому и знать название бренда, как не мне: я гладила ее уже раз пятнадцать, помню каждую складочку, каждую пуговицу, и воротник с этикеткой не составляет для меня никакой тайны. Мне чудится, что я и есть эта полоска ткани,

---

[26] Сноски: 26
Доброе утро и извините *(англ.)*.

охватывающая его шею, ласкающая прохладную, упругую мужскую кожу.

Эта мысль не доставляет мне удовольствия — напротив, вызывает тошноту; так и тянет тщательно вымыться с головы до ног. Саймон протягивает мне кусок хлеба для тоста; пока я его брала, Джеймс успел исчезнуть. Я проспала все на свете; Моника знаком велит мне одевать Саймона: она уже пошла в душ и потому не говорит, а объясняется энергичными жестами. Я увожу младшего в его комнату. Подойдя к зеркалу, он внимательно разглядывает себя. Какой забавный человечек! А я стою на коленях у него за спиной, чтобы быть одного с ним роста, и мои волосы падают ему на плечи. Он хватает одну светлую прядку, гладит ее, прикладывает к щеке. Но не улыбается, думает о чем-то своем. В комнату врывается Моника с криком: «Hurry up!»[27] Набрасывается на сына и целует его так жадно, словно не видела три недели.

---

[27] Сноски: 27
«А ну поживее!» *(англ.)*

Смотрю, как они садятся в джип. На дворе «хорошая погода по-бретонски» — дождь, облака, а над ними тусклый призрак солнца. Моника устраивает Саймона в его автомобильном креслице, вновь целует и несколько раз проверяет, хорошо ли застегнут ремень безопасности, а потом садится на водительское место, оборачивается, чтобы еще раз подергать ремень малыша, захлопывает дверцу и берется за руль. Мне кажется, что у нее не все в порядке с психикой, и это меня беспокоит. В тот момент, когда машина трогается с места, к ограде резиденции подруливает бежевый «ягуар» и тормозит рядом с джипом. Стекло со стороны водителя опускается, и я узнаю долговязого сноба Дэвида, отца близняшек. Они с Моникой обмениваются несколькими словами, которые я расслышать не могу, однако угадываю произнесенное мужчиной по губам: «See you tomorrow night»[28]. Завтра четверг — вечерний прием соседей у моих хозяев.

За роскошными машинами смыкаются решетчатые ворота, и я поднимаюсь к себе — мне не терпится выяснить, что же написано там, на стене. У меня тревожно бьется сердце. Распахи-

---

[28] Сноски: 28
Увидимся завтра вечером *(англ.)*.

ваю оконные ставни, чтобы впустить в комнату побольше света, и оттаскиваю кровать как можно дальше от стены. Сгибаюсь над образовавшимся проемом, вглядываюсь в черные буковки, наклоненные так, словно они куда-то бегут:

I know why I'm here. Я знаю, зачем я здесь.

Раз за разом перечитываю эти слова, водя пальцем по буквам, желая убедиться, что не сплю.

I know why I'm here.

Застываю в изумлении. Кто мог это написать? Бывшие хозяева дома? Виржини? Или другие служанки, работавшие здесь до нее? Только теперь до меня доходит, что я не знаю, кто здесь обитал после Виржини, кто нянчился с Саймоном, когда он только родился, кто ухаживал за Льюисом в раннем детстве. Я никому не задавала таких вопросов, и мне никто ничего не рассказывал. Здесь не принято говорить о других служанках. Что это — скрытность, стыдливость, боязнь обидеть сравнением, желание начать с нуля, чтобы не травмировать детей?

Однако размышлять мне некогда: давно пора заняться уборкой, а потом зубрежкой: я уже сильно отстала от своего графика подготовки к конкурсу. Экзамен назначен на июнь. И я тоскливо думаю: а что, если я не успею пройти все

намеченное? Запись на конкурс по журналистике платная, и мои предки ни за что не пожертвуют деньгами дважды, они и так не очень-то верят в мой успех. Вот почему я из кожи вон лезу: это единственный шанс добиться главной цели моей жизни. Торопливо хватаю тюбик клея и кое-как прилепляю к стене упавшую полосу обоев — не хочу, чтобы меня обвинили в порче хозяйского имущества. И снова придвигаю кровать вплотную к стене.

Сижу за столом между мальчиками, напротив моих хозяев. И мне чудится, будто я еще подросток и то ли присутствую здесь, то ли нет. Я помалкиваю. И только наблюдаю, поскольку говорить не могу. Чем дальше, тем неуверенней я себя чувствую: твердая почва, на которую я ступила, едва приехав, день ото дня становится все более зыбкой, ненадежной, непредсказуемой. Я намеревалась войти в эту семью, узнать ее, принять ее обычаи, однако с каждым днем все больше теряюсь в каком-то мареве сомнений и неустойчивости. Пятно за ушком Саймона, непонятное поведение Моники, ее тайные встречи, невозможность выйти из дома, когда хочется, бдительный глазок камеры, подозрительная фраза под обоями, пугающая надпись на стене, молитвы Льюиса, к которым меня не допускают… Словом, день ото дня здешняя жизнь все мрачнее и мрачнее.

И вот нынче вечером я внимательно приглядываюсь к своим хозяевам, стараясь понять, что происходит. Может, я просто переутомилась, не сумела проникнуться духом этого круга, к которому не принадлежу и который явно намного сложней, чем я себе навоображала? Моника… Джеймс… Характеры у них разные, и тем не ме-

нее они очень похожи — это, конечно, результат долгой супружеской жизни, нечто вроде мимикрии. Оба темноволосые, оба высокие. Да, очень высокие. Это я к тому, что, например, мои родители коренастые. Как два комода. Но Джеймса и Монику объединяют и еще кое-какие общие черты — тонко вылепленные носы, крутые скулы, длинные руки и пальцы. Одинаковая осанка. Они вполне могли бы сойти за брата и сестру.

Вечернее купание детей, самый приятный момент дня. На часах половина восьмого; Саймон сидит в ванне, на специальном противоскользящем коврике, и забавляется пластмассовыми игрушками. Ванну он по распоряжению его матери принимает раз в два дня, не чаще: нужно щадить нежную детскую кожу. И никаких «головомоек»: Моника собственноручно занимается этим в конце недели. Мне она объяснила, что Саймон не любит, когда притрагиваются к его головке, и это позволено лишь ей одной. Я провожу круглой губкой по его пухлому тельцу, бережно протираю шейку сзади и под ушками, легонько прохожусь по щекам, а затем проделываю все то же в обратном порядке…

За ушком Саймона я теперь не вижу никакого пятна. Куда же оно подевалось? Смотрю на правую сторону шейки, на левую: никаких отметин. Как странно… Если это не родимое пятно, то что же могло так пометить его кожу? Надо будет сказать об этом Монике. Саймон размахивает ручонками, щедро разбрызгивая воду по всей ванной. И весело хохочет — искренний детский смех, не ведающий никаких запретов, никаких приличий, чуждый всякой иронии. Я смотрю, как Саймон резвится, и думаю, что благодаря ему

я одновременно и взрослый человек, несущий за него ответственность, и жизнерадостный ребенок; в такие минуты я по-детски радуюсь, что мне повезло найти эту работу.

Всю ночь я размышляла о загадочном пятне, которое то появляется, то исчезает на шейке Саймона. И к утру у меня родилась одна гипотеза. Причем совершенно безумная. Дождавшись, когда джип Моники исчезнет за стеной резиденции, я набираю в свое ведерко всякую бытовую химию и иду в спальню моих хозяев. Их постель разворочена, пуховое одеяло наполовину сползло на пол, и все это выглядит как-то непристойно. Одежда и белье разбросаны по комнате, свидетельствуя о довольно бурной ночи. Мне никогда не случалось входить в спальню моих родителей по утрам; они были слишком стыдливы, чтобы демонстрировать свои интимные отношения. Я, вообще-то, не ханжа, но тут мне становится не по себе. Эта картина ясно показывает, кто я для них: простая незаметная служанка, девчонка, которая моет, чистит и убирает за ними, снуя за кулисами их роскошной жизни.

Иду в ванную, открываю шкафчик, достаю флакон с краской для волос. Выливаю из него капельку себе на руку, размазываю и даю высохнуть. А флакон аккуратно ставлю на то же место, позади большой банки с увлажняющим кремом. Затем прохожу из ванной в спальню, мысленно говоря себе: «Да ты свихнулась, дорогуша! Что

ты хочешь доказать? И что будешь делать со своим доказательством? И что оно означает? Это безобидно или подозрительно?» Я задаю себе этот последний вопрос, заранее зная ответ: подозрительно. Включаю радиоприемник, стоящий на подоконнике, и узнаю модный шлягер «Man! I Feel Like a Woman!» — «Боже, я чувствую себя женщиной!» Это поет Шанайя Твейн.

Прибавляю звук. «О-о-о, да-да, я хочу быть свободной, ощущать все, что чувствуют мужчины, чувствуя себя женщиной, ля-ля-ля-ля! Неу!» Эта песня заряжает меня энергией, внушает желание послать все к черту, и я танцую как ненормальная до самого ее конца. Потом смотрю на свою руку. Темно-коричневое пятно неотличимо от того, которое я заметила за правым ушком Саймона.

Наутро вижу пятно на том же месте. А ведь я накануне мыла руки. Но все-таки откуда оно взялось за ушком Саймона? Двухлетний ребенок не способен влезть на табурет и пошарить в шкафчике с косметикой — разве что он попросил мать нанести это пятно ему на кожу. «Нет, это уж вряд ли!» — думаю я, усмехаясь под одеялом.

Но потом мне уже не до смеха.

Встаю, стелю постель, одеваюсь. Сад под моим окном выглядит жалким: летом его питали регулярные ливни, зато осень здорово разорила. Темно-зеленые листья уже окаймляет красный, оранжевый или каштановый ободок; они еще кое-как держатся, однако некоторые оголенные ветки напоминают кости скелета, который угрожающе тычет в людей своими корявыми пальцами. И этот новый день не вызывает у меня никакого желания выйти из дома. Ох, как же мне не хватает нашей Бретани!

За столом уже сидит вся семья; завтрак подан: нарезанные фрукты, тосты, овсяные хлопья. Компот и молоко для детей, крошки, оставленные Джеймсом, чайная чашка Моники со следами губной помады на ободке.

После завтрака она развозит детей, потом едет на свою гимнастику и возвращается домой одна.

Мне хочется успеть завести разговор до того, как она погрузится в свою жизнь богатой хозяйки роскошного дома, а я — в свою жалкую работу служанки. Включаю посудомойку. Моника приходит в кухню и наливает себе вторую чашку чая, за которой она сверяется со своим сегодняшним расписанием. Предлагает чай и мне — это единственный знак внимания, которым она меня изредка удостаивает. Выставляет на стол уже знакомую мне зеленую коробку; на ней блестит золотой ярлык «Fortnum & Mason». Это один из самых роскошных чайных магазинов Лондона. Моника пьет только «Royal Blend» — чай, специально созданный в 1902 году для короля Эдуарда Седьмого, «идеальный сорт для завтрака, с мягкими медовыми нотками». Когда Моника расхваливает его качества, мне кажется, будто она повторяет аргументы продавца, упиваясь ими так же, как самим чаем; отсюда я делаю вывод, что богачи ценят упаковку не меньше, чем содержимое.

Я говорю ей:

— Саймон и Льюис были сегодня утром такие веселые!

— Да, они обожают ездить со мной; я включаю в машине музыку, и мы поем.

Говоря о своих детях, Моника прямо расцветает, и я спешу воспользоваться ее хорошим настроением:

— У нас в семье только девочки, а это совсем другое дело!

Она улыбается, но видно, что ей на это наплевать. Я уношу чистые тарелки, ставлю их в белый кухонный шкаф и говорю:

— Моника, у Саймона за ушком было странное темное пятно размером с монетку; оно держалось несколько дней, а потом исчезло.

При этих словах исподтишка поглядываю на нее — нет, никакой реакции.

— Пятно? — переспрашивает она. — Я ничего такого не заметила. Ну, спасибо, что сказали.

Похоже, ее занимает что-то другое. И я чувствую, что напрасно докучаю ей такими пустяками. Она берет свою чашку и отправляется в столовую. Слышу, как на стол шлепнулся ее еженедельник, щелкнула застежка, зашуршали страницы, одна за другой, и чпокнула крышечка ручки. Эти каждодневные звуки уже не сулят ничего радостного, они копятся в моей памяти и здорово угнетают.

Направляюсь в свою комнату. Я буду заниматься, я *должна* заниматься изо всех сил! Там, наверху, залог моего успеха, спасения, свободы. Однако, дойдя до второго этажа, до комнат детей, чувствую, что меня останавливает какое-то странное жжение под ложечкой — смесь удовольствия и страха, страстного желания и отвращения: я *должна* туда войти! Захожу в комнату Льюиса, где прибирала нынче утром. Бесшумно затворяю за собой дверь. И начинаю искать. Льюис вообще немногословен, а в последнее время говорит все меньше и меньше. У него такая бледная кожа, что кажется, будто под ней не течет кровь и ее можно рассечь, не боясь, что он это заметит. В какой это «Центр» его возят? Какую часть уроков занимает там теология? Какие другие предметы там изучают? И что он читает?

Начинаю с обследования стопки книг, лежащих на его ночном столике, на виду; до сих пор я к ним еще не приглядывалась, отметив разве что Библию, выделяющуюся среди прочих своей толщиной и черным кожаным переплетом. Читаю названия романов, сложенных поверх нее: «Угонщики» и «Вещие сестрички» Терри Пратчетта, «Ведьмы» Роальда Даля, «Великолепная пятерка: Тайна острова сокровищ» Энид Блайтон. Это всё

обычные детские книжки. А Библия похожа на ту, что лежит в молельной комнатке. Такая же обложка — пугающая и *живая*. На первой странице уже известный мне подзаголовок «Святая Библия, версия короля Якова». Листаю Священное Писание и обнаруживаю, что в книге обведены рамкой, от руки, те же пассажи, что и в той.

> Corinthians 13: 4–7
> Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

Коринфянам 13: 4–7

Любовь не радуется беззаконию, но лишь истине. Прощает все, верит всему, уповает на все, претерпевает все!

Эта фраза всегда приводила меня в недоумение. Нет, любовь не может извинить все. Нельзя все делать, все совершать из любви. Очень хотелось бы обсудить этот пассаж с моими хозяевами, но нет, я не посмею.

Перелистываю священную книгу и вдруг нахожу в ней почтовую открытку. На лицевой стороне — фото: молитвенно сложенные ладони, на оборотной — текст, написанный от руки:

Daily prayer:

I am a passing being, it is my nature, my humility.

I kneel before you, eternal God, in acceptance of my condition.

I am a transitional being, I am here and soon I will no longer be.

I agree to step aside without complaining.

I accept my mission.

Каждодневная молитва:

Господи, я жалкий смертный пред Тобою, таков мой земной удел.

Простираюсь пред Тобою, Господь наш вечный, в знак приятия моего ничтожества.

Я смертен; ныне я здесь, но вскоре перейду в мир иной.

Смиренно принимаю удел мой и исчезну, не сетуя.

Принимаю мое предназначение.

Что-то я не припомню такой молитвы в родительской Библии. «Я жалкий смертный»… Странная молитва. Неужто Льюис читает ее каждое утро, произносит эти слова — о том, что он, такой юный, смертен? Бррр, прямо мороз по коже… Перед тем как закрыть Библию и поло-

жить ее на место, задерживаюсь на последней странице. В правом нижнем углу нахзаца вижу мелкие, но четко выведенные черной тушью слова «Reginald + Eileen White», а под ними — маленький рисунок. Я никогда не слышала здесь упоминаний об этих людях, но их имена выглядят какими-то устаревшими. Может, эта Библия — подарок Льюису от его деда и бабушки? Под фамилией нарисовано пером крошечное деревце с толстым стволом, от которого отходят, снизу доверху, горизонтальные ветви. Что же означает этот символ?

Шум за дверью. Чей-то голос. Сколько времени я потратила на этот осмотр? Подхожу к двери, приоткрываю ее, чтобы послушать, чем занята моя хозяйка: она говорит по телефону. А я еще не кончила знакомиться с жизнью Льюиса; жар, который терзал мои внутренности, поднялся к горлу; теперь мне больно дышать. Тихонько прикрываю дверь и подхожу к секретеру старшего сына Уайтов. В нем около десятка выдвижных ящиков с широкими серебристыми ручками. Там я обнаруживаю рисунки одинокого мальчика-подростка, влюбленного в сельскую местность или во что-то близкое к ней: поля, уединенные дома, мрачные сумеречные небеса. Рисунки наивные, однообразные, с налетом печали. В другом отделении секретера нахожу принадлежности для рисования — карандаши с толстыми грифелями, ластики, тюбики гуаши. Еще ниже — пачки бумаги фирмы «Canson». Все это сложено очень аккуратно — слишком аккуратно для десятилетнего мальчика. Многие ящики совершенно пусты. А вот в последнем обнаруживаются какие-то документы, сколотые стальными скрепками. Рассматриваю их: некоторые представляют собой бланки с официальным грифом «Cedar Protestant Education Centre, 42 Dover St, London,

United Kingdom»[29], — похоже, это и есть учебное заведение Льюиса.

Cedar? Надо поискать дополнительный смысл этого слова — КЕДР — в моем словаре.

Я-то думала, что Льюис учится в специальном заведении для детей-инвалидов, а не в религиозном центре. Увиденные бумаги не просто удивляют — они удручают. После многих страниц, посвященных бесчисленным правилам поведения в этой школе, я нахожу расписание занятий Льюиса и перечень изучаемых им предметов:

> Средневековое и современное христианство.
>
> Изучение основополагающих библейских текстов и их толкование.
>
> Систематическая, философская, догматическая и этическая теология.
>
> Практическая теология: социология религии, музыковедение и пасторское служение.
>
> Древние языки: библейский иврит и греческий.

---

[29] Сноски: 29

«Протестантский образовательный центр „Кедр“, 42, Доувер-стрит, Лондон, Великобритания» *(англ.)*.

История.

Я потрясена. Теперь я лучше понимаю замкнутость и молчание Льюиса. Как можно быть счастливым, когда тебя с раннего детства заставляют изучать такие сложные материи, не имеющие никакой связи с настоящим? Что же он знает о сегодняшнем мире? Знакома ли ему любознательность его сверстников? На чем он может строить свои мечты и представление о будущем? Ведь эти суровые, застывшие каноны принуждают его идти вспять, в прошлое, и потому он с каждым днем отдаляется от нас.

Вот что можно обнаружить, когда живешь в одиночестве среди чужих людей: каждый день — новый шанс; каждый скверный день стирается ночью — этой неизбежной паузой в твоем расписании, и даже если ты того не желаешь, даже если ты не успела всего переделать, наступление ночи неизбежно. Впрочем, если день был утомительным, скучным, пропащим, а твоя жизнь показалась тебе ничтожной, безнадежно загубленной, благодаря ночи она спасена. Во всяком случае у тебя возникает такое впечатление. Ты не знаешь, что происходит в твоем мозгу во время сна, но тебе чудится, будто какая-то добрая фея хлопочет там по ночам, стирая все мерзкие, пошлые наносы дня, и по пробуждении настоящее представляется более светлым, более разумным. Ты вспоминаешь, что во сне все бурлило и боролось, что там было нечто странное и пугающее, однако тебя успокаивает покров, который фея Динь-Динь набросила на все это, иначе ты просто не встала бы поутру с постели или шагнула в окно, широко распахнутое над твоей постелью.

– *Good morning! Mooorning!*

Голоса звучат звонко и радостно. Доброе утро! Это приветствие разносится по всему дому, суля его обитателям веселое настроение. Да, и утро,

и день будут добрыми! Одевшись, я спускаюсь к своей прекрасной английской семье. Улыбаюсь во весь рот, объявляю, что чудесно провела ночь, что проснулась как новенькая и готова радостно встретить оставшиеся месяцы моей работы. Моя цель — стать журналисткой, независимой и свободной, сделать карьеру, вращаясь в кругу образованных, открытых людей, разбогатеть, как они, ну и так далее… Завтрак проходит в душевной обстановке, я прекрасно играю свою роль, вижу, что хозяева мной довольны, и прокручиваю в голове сегодняшнюю программу: быстренько прибрать наверху, в спальнях, затем выйти из дома и добиться встречи с одной из моих коллег. Все равно, с какой именно; мне важно найти тут себе подобных, того, кому я могла бы довериться, кто понял бы меня или хотя бы время от времени со мной общался.

Моника увезла детей на машине, и ее урок гимнастики не отменили, так что я осталась дома в полном одиночестве. После того как я все убрала, отмыла, вычистила, сложила, а заодно надышалась едкими химическими запахами моющих средств (доказательство моего усердия), я вышла наружу, чтобы прогуляться по резиденции.

На первый взгляд кажется, будто все ее оби-

татели заняты делом, но я уверена, что в конце концов кого-нибудь да встречу, и готова ждать этого, расхаживая взад-вперед.

Иду мимо дома моего любимого соседа — Митчела. У него всегда все спокойно, и мне это известно, так как его особняк — ближайший к нашему. В отличие от других домов здесь не слышно, как хлопает входная дверь, как отъезжает или возвращается машина. От Моники и Джеймса я узнала, что хозяин работает с утра до ночи. Он архитектор; его офис находится в центре Лондона. Митчел и его жена привлекают меня более остальных: это общительные и приветливые люди, да к тому же блестящие, артистические натуры. Холли увлекается живописью и часто ездит в город брать уроки. Как ни странно, я до сих пор не встретила ни их сына, ни их служанку; похоже, в нашей резиденции помощницы по хозяйству и впрямь сугубо домашние существа.

Эти девушки занимаются детьми и домом, не выходя за его стены, и только хозяева работают и отдыхают вне особняков. Я минуя жилище Митчела; дальше стоит дом Джона и Евы, у которых работает Нэла. Я вижу ее со спины, но сразу узнаю по длинным, до пояса, волосам и по тоненькой фигурке. Решаю окликнуть:

— Нэла!

Женщина оборачивается и смотрит на меня. Я обозналась: она значительно старше.

— Простите?..

— Ох, извините, я приняла вас за…

— За Нэлу? Нет, я ее хозяйка, меня зовут Ева.

Я стою в замешательстве.

— А вы хорошо знакомы с Нэлой?

— Нет, я видела ее только однажды, на барбекю у Джеймса и Моники.

Похоже, мой ответ ее удовлетворил — более того, успокоил. Но она не предлагает мне зайти к ним или вернуться попозже, чтобы встретиться с моей коллегой. Лишь кивает и входит в дом. А я стою как оплеванная. Видно, ей не хочется тратить на меня ни свое драгоценное время, ни время своей помощницы. Ведь оно так дорого… Несколько фунтов — карманные деньги! — за работу двадцать четыре часа в сутки! Я с отвращением смотрю ей вслед — так и хочется догнать ее и врезать как следует. В Бретани мне внушали гадливость бедняки, но здешние богачи, как я погляжу, тоже не подарок. И все же я остаюсь той покорной скотинкой, в какую меня здесь превратили. Поэтому разворачиваюсь и иду обратно, в свое стойло.

Сижу у себя в комнате за столиком. Курс экономической истории Европы двадцатого века едва не выпадает у меня из рук. Ищу в двуязычном словаре несколько слов и выражений, которые я записала в комнате Льюиса, чтобы узнать побольше о его учебной программе. Что такое *Founding texts*? Основополагающие тексты западной цивилизации: Библия, «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия и «Метаморфозы» Овидия. *The Hermeneutic Bible?* Наука о толковании текстов, в том числе библейских. Ничего себе нагрузочка для десятилетнего ребенка! Да еще это загадочное название его школы — «Cedar Protestant Education Centre». *Cedar* означает «кедр». Кедр Ливанский — легендарное священное дерево, называемое также Божьим кедром. В Библии он упоминается семьдесят семь раз — в частности, царем Соломоном, который повелел пустить его на стропила для кровли Иерусалимского храма. Это дерево — символ чистоты и мощи. Рядом с этим определением помещена и фотография дерева — могучего, но кажущегося легким, — такого же, как на рисунке тушью, под двумя именами: «Реджинальд + Эйлин Уайт». Значит, Льюис — примерный ученик протестантского образовательного центра «Кедр», лондонской школы,

где преподают исключительно протестантские тексты и внушают детям веру в духовную мощь и чистоту религии.

Чудится, будто под кожей у меня застряла заноза — совсем тоненькая, она не причиняет боли, но я ощущаю ее: она то и дело напоминает мне, что здесь что-то нечисто, и мешает рассуждать логично. Причем эта заноза словно бы путешествует по моему телу: я чувствую ее то в основании шеи, то между лопатками, то в ладони, а то и в ступне, отчего я даже слегка прихрамываю. Как-то раз я села, присмотрелась к ноющему месту и сильно прижала кожу вокруг него, чтобы разглядеть и выдавить этот источник боли. Но нет, ничего у меня не получилось. В другой раз я взяла в ванной Моники щипчики для бровей, которыми она придает им идеальную дугообразную форму, но, как ни старалась, это изящное позолоченное орудие пытки тоже не помогло мне добраться до занозы.

И тем не менее она существует.

Мое постоянное душевное недомогание, мой страх перед тем загадочным, непонятным, пугающим, что я могу обнаружить, ясно подсказывают: мое повседневное существование потихоньку идет под откос. А жаловаться некому… да и как передать это словами? Сказать, что мне больно вот здесь или вот там… нет, вот тут! Ну и как я после этого буду выглядеть? Мне ответят: да это просто ипохондрия! Или: да вы просто лгунья!

Или: вот уж делать вам нечего! Но я ведь хочу, чтобы меня любили и уважали, а не жалели. И потому молчу, хотя каждый день спрашиваю себя: ну и где сегодня она объявится, эта самая заноза?

Прямо здесь…
И прямо сейчас…

Нынче вечером Моника попросила меня уложить спать Льюиса — она, мол, мне доверяет. Даже разрешила помочь ему раздеться. Для меня это целое событие: здешняя жизнь так монотонна, что малейшая перемена становится праздником. Спрашиваю Льюиса, как помочь ему снять брюки. Он отвечает:

— Вы их стянете с ног, но перед этим закроете глаза.

Стесняется, бедняга! Что ж, я понимаю.

— И не забудьте держать глаза закрытыми — *closed eyes*!

Однако в какой-то момент брюки не поддаются; я тяну за них чуть сильнее, но боюсь сделать ему больно. Машинально открываю глаза, вижу две тонкие, бесформенные конечности, обтянутые кожей, и в тот же момент чувствую знакомый укол, на этот раз в поясницу. Невольно отшатываюсь. Его бледную анемичную кожу, редко видевшую солнце, покрывают длинные черные волоски, похожие на высохшие шерстяные нити. Он ребенок, я взрослая, мне не следовало так пугаться, но это зрелище внушает гадливость. Взгляд Льюиса полон горечи:

— Я ведь просил вас закрыть глаза!

Он явно хочет запретить мне расспрашивать его об этой мучительной немочи, которую все тут от меня скрывают. Что за болезнь так изуродовала его ноги? Лечат ли его? В будни он проводит все время в своем протестантском учебном Центре, в выходные сидит дома — так когда же им занимаются врачи? Я снова закрываю глаза и помогаю Льюису раздеться. Он говорит:

— Я могу лечь сам, спасибо!

Мне грустно слышать это: чем больше я стараюсь сблизиться с ним, тем больше он отдаляется, этот мальчик с отрешенным лицом и одеревеневшими ногами.

В кухне сидит Джеймс; в одной руке у него бокал джина со льдом, другая двигает по столу взад-вперед толстостенную бутылку, украшенную золотисто-красной этикеткой «Gibson's London Dry Gin». Джеймс не совсем трезв; на нем пижама из «шотландки» в зеленую и голубую клетку — теплая, уютная, так и тянет понежиться. Он оборачивается, удивленно смотрит на меня, но вид у него довольный. Улыбается мне, а я невольно пячусь к двери. Интересно, встречал ли он Виржини такой же улыбкой? Джеймс спрашивает, хорошо ли у меня все прошло с Льюисом. Сейчас он говорит не так, как обычно: куда медленней и язык чуть-чуть заплетается. Я могла бы воспользоваться случаем, чтобы расспросить его о больных ногах сына, но не решаюсь. Не хочу обрывать налаженный контакт. Если хозяева ничего не рассказали мне раньше, с какой стати они будут делать это сейчас?! А у меня накопилось к ним много вопросов, на которые пока нет ответа, — например, обо всем, что касается их религии и семьи. И живы ли дед и бабушка мальчиков? А если живы, то почему они тут не бывают?..

Готовлю себе липовый чай и встаю, прислонившись к холодильнику.

— Да, с Льюисом все прошло хорошо. Он у вас такой умный и милый мальчик!

Говорю, а сама думаю: Джеймс мог бы зайти к сыну и поцеловать его на ночь.

И вдруг решаюсь:

— Моника рассказала мне историю «Библии короля Якова»; а я и не знала, что существует много версий этой священной книги. В моей-то семье все католики. Но вот интересно: в чем разница между католиками и протестантами?

Джеймс пытается сосредоточиться:

– *Well*… У нас, протестантов, нет посредника между верующими и Богом; мы не нуждаемся в священнике, чтобы исповедаться и просить об отпущении грехов. Человек сам, один отвечает за свои деяния перед Господом. И поскольку он должен самостоятельно оценивать свои поступки и напрямую за них отвечать, это делает его лучше. Человека спасает единственно его вера в Иисуса Христа — *sola fide* на латыни. И единственно благодаря милосердию Иисуса Христа — его *sola gratia* — человек получает прощение и ему отпускаются все грехи.

Если бы я встретила Джеймса на какой-нибудь ярмарке веры и религиозных убеждений, я бы тут же покинула стенд «католики» и перешла к

протестантам.

— А ваши родители — они тоже верующие?

Это я уже залезаю в его генеалогию. В доме царит тишина. Только ночь умеет создать такое безмолвие и набросить на мир покрывало духовной близости. Оно ласково, как шелк, но я все-таки держусь настороже. Джеймс отпивает глоток джина и поправляет меня:

– *Были* верующими.

Из чего я заключаю, что они умерли.

— Наши родители были очень набожными людьми, — продолжает он. — И вдобавок филантропами, что высоко ценилось в нашем сообществе. *Philanthropists* — вам известно, кто это такие? Это люди, творящие добро. Они были всей душой преданы своей религии, помогали самым бедным жителям нашего округа, и все их очень любили.

Он рассказывает мне о своих замечательных родителях, погрузившись в воспоминания и попутно взбалтывая льдинки в своем бокале. А я спрашиваю себя: почему он сказал *our parents* — «*наши* родители»? Неужто Моника и Джеймс так слиты воедино, что родители мужа стали родителями и для его жены?! Или, может, Джеймс имел в виду своих братьев и сестер, о которых

мне пока ничего не известно?

Сегодня днем Монике пришлось срочно уехать.

— Забыла о назначенной встрече! — бросила она мне, кинувшись к выходу.

Она увезла с собой Льюиса. Джеймс в городе, на работе. Я осталась одна с Саймоном — он сейчас в прекрасной, можно сказать, олимпийской форме. По субботам в резиденции царит куда более оживленная атмосфера: все дома, можно гулять, общаться с соседями. Я надеваю на малыша твидовую курточку, красный беретик и попутно чмокаю в щечку; он рад-радехонек, ему тоже не терпится погулять. Сажаю его в коляску, он берет с собой любимую игрушку — плюшевого льва, а я захватываю бутылочку с водой. На улице холодно, но солнечно. Мы встречаемся с Митчелом и Холли. Следом идет девушка, похожая на ту, чье плечо он гладил в своем саду… Их служанка? Она несет какие-то покупки и не смотрит на меня. Но тогда кто же остался с их ребенком? Эта очаровательная супружеская пара здоровается с нами, ласково улыбаясь.

— Вышли погулять? — небрежно бросает мне Холли.

— Да, вон там… — неопределенно отвечаю я.

— Ну, желаю приятной прогулки. *Have fun*, —

говорит она и отворачивается.

Решетчатые ворота ограды раздвигаются и впускают джип — любимую машину здешних дам. Ева узнает меня и машет. А я решаю выйти из резиденции. Впервые. Испытываю приятное чувство свободы. С того дня, как я приехала сюда в «ягуаре» моего хозяина, мне еще ни разу не удалось ступить на эту дорогу, увидеть эти деревья, подышать воздухом за пределами «Хидден-Гроув». А дорога прекрасная — гладкое бетонное шоссе, вьющееся вдоль леса. К сожалению, здесь нет тротуаров и мне, пешеходу с детской коляской, нужно придумать, как передвигаться, не рискуя угодить под проходящие машины. Но тут я замечаю узенькую тропинку, бегущую между стеной и шоссе. Правда, она наполовину заросла травой и прогулка по ней, да еще с коляской, — настоящий рок-н-ролл, но здесь мы, по крайней мере, в безопасности.

Какое чудесное путешествие! Мне кажется, я могла бы шагать вот так до бесконечности, не останавливаясь; это опьяняет, и я везу коляску все быстрее и быстрее, ноги несут меня все дальше, метр за метром. Слева замечаю несколько домиков. Они совсем не походят на особняки в нашей резиденции — у каждого свое лицо, свой

облик, они не копируют друг друга. Внезапно я чувствую, что мне свободно дышится. И думаю: «Тебе, голубушка, давно следовало выбраться наружу, почему ты столько времени сидела взаперти? Почему позволяла гнобить себя работой по дому и этой дурацкой, неистовой подготовкой к далекому экзамену с неизвестным исходом?! Ведь никто тебя к этому не принуждал, никто не мешал выходить из резиденции!..» Верно: никто и ничто — если не считать дикой усталости. И эта непонятная усталость ежедневно пьет мою кровь, как ненасытный зверь, терзает нервы и постепенно выкачивает из меня все силы.

А здесь, на воле, я чувствую, что каждый шаг расправляет мои легкие, освобождает меня… Но вдруг я слышу автомобильные гудки. И вижу в окне встречной машины разъяренное лицо Моники. Она тормозит рядом с нами. Злобные глаза, дикие вопли. Я не сразу понимаю, в чем дело, но, похоже, ее взбесило то, что я вывезла Саймона за пределы резиденции. Она кричит:

– *WHY?! WHY?! WHY?!*

Зачем я вышла за ограду? Что это на меня нашло? Почему не спросила у нее разрешения? Она наводит на меня страх. И заодно пугает Саймона, который начинает плакать… и вот тут, увидев его

слезы, она умолкает. Ей не хочется пугать сына, она подбегает, опускается на колени и судорожно прижимает его к себе, бормоча: «*Darling baby*, любимый мой малыш!» Я ничего не понимаю в этой сцене, это же подлинное безумие! Ее сыну не грозила никакая опасность. Я ведь не везла коляску по шоссе, мы всего только выбрались за стену! Ее безумный гнев приводит меня в оторопь, я буквально теряю дар речи.

Моника прикрепляет Саймона ремнем к его автокреслицу и, схватив коляску, швыряет ее в багажник. Затем открывает заднюю дверь и, дернув подбородком, без слов приказывает мне сесть туда. Как ребенку. Меня понизили в чине. Моника ничего не говорит, замолчала наглухо. Войдя в дом, она сама кормит сына полдником, а меня взглядом выгоняет из комнаты. Я поднимаюсь к себе. На часах двадцать минут восьмого; слышу, как Джеймс возвращается с работы. Приоткрываю свою дверь, вслушиваюсь. Внизу Моника вполголоса рассказывает мужу о случившемся. Мне ясно, что я попала в тюрьму, — она, конечно, так не называется, и мне не запрещали выходить из комнаты, но, если я выйду, последует новая кара. Мне так тошно, что я начинаю грызть ногти. У меня нет сил спуститься к ужину, уложить

детей спать. Лежу на кровати, застыв, в каком-то оцепенении. И чтобы развеять тоску, погружаюсь в роман «Американский психопат» — в нем все еще хуже, чем в моей жизни, и это меня слегка утешает.

Поглощаю страница за страницей шедевр Брета Истона Эллиса. Этот тип, конечно, полный псих, но что-то в его исследовании зла меня завораживает. На часах половина десятого, дети уже легли. Вскакиваю с кровати, чтобы почистить зубы. Под дверью спальни моих хозяев света не видно. Неужели спят? Весь мой этаж погружен во тьму. В доме царит мертвая тишина. Но вдруг я замечаю на лестничной площадке какие-то тени. Может, кто-то забрался в дом? Меня прямо тянет пойти и выяснить. Спускаюсь по лестнице бесшумно, как кошка. На стенах кухни пляшут слабые отсветы, они искажаются по мере того, как я приближаюсь. Теперь мне слышны голоса — нет, шепоты Моники и Джеймса, сменяющие друг друга.

— *Thank you, Lord, you are great and you forgive our sin. We were reckless and we take full responsibility for it, we failed but the child is safe. We are worthy of your offering.*

«Благодарим Тебя, Господь Вседержитель, за то, что прощаешь прегрешение наше! Мы были неосторожны и каемся в этом грехе; мы готовы принять Твою кару, но дитя наше спасено. Мы достойны Твоей милости».

Долгая пауза.

Потом до меня доносятся какие-то сдавленные звуки, словно кто-то душит себя или кого-то другого. Но я ничего не вижу. Мое воображение все еще скачет галопом по равнинам ужасов Брета Истона Эллиса. Слышать, но ничего не видеть — какая пытка! По стенам мечутся черные тени в кромках света; я пытаюсь различить их… вот чьи-то руки, плечи, шея… Страх толкает меня на авансцену. Я вхожу в гостиную, подкрадываюсь к молитвенному уголку. Моника и Джеймс стоят спиной ко мне, лицом к стене. Между ними виден крест — он, словно знак плюс, складывает их: Моника + Джеймс. Мне чудится, что я где-то уже видела такое. Длинный огненный язычок белой восковой свечи искажает, размывает их силуэты. Мне чудится, что каждый из них держит веревку, обмотанную вокруг шеи другого. Как будто они душат друг друга. У меня в горле зарождается немой крик, ужас толкает к бегству. Но я не двигаюсь с места. Буря, поднявшаяся у меня в голове, никак не сочетается с теплым безмолвием этой сцены. Я знаю, что не должна видеть *это*. И, медленно попятившись, исчезаю на лестнице. Может, завтра выяснится, что ничего такого и не было.

Просыпаюсь с каким-то металлическим привкусом во рту. И с тоской вспоминаю первые дни своей здешней жизни. Эта ночная сцена… Она отзывается болью, как рана, и ночь не помогла ей затянуться. Почему мои хозяева душили друг друга веревкой, стоя перед крестом? За что они наказывали себя? За то, что я вывезла Саймона из резиденции? Нет, не может быть, это же сущее безумие! И все-таки жуткое ночное действо, разыгранное при слабом свете свечи, то и дело встает у меня перед глазами, затмевая все другие тревоги. Вот единственное его преимущество. Даже пятно за ушком Саймона теперь уже не проблема. И нервный срыв Моники после моего рывка на свободу кажется сущей мелочью.

Машинально встаю и отправляюсь вниз, работать. На кухне вижу Монику с детьми; она встречает меня улыбкой. Похоже, сегодня она в отличной форме, как будто хорошо выспалась и теперь ее ждет новый безоблачный день. *Morning!* Стараюсь попасть в такт, чтобы не портить картину. И с улыбкой берусь нарезать фрукты. Трудиться, учиться и ни о чем не думать — вот главное! Держаться за свое место и не совать нос в чужие дела.

Джеймс уже уехал на работу.

Внезапно входная дверь распахивается настежь — Джеймс вернулся. Он кричит, что забыл какую-то папку. Я думаю: письменный стол, сейф… как бы разузнать об этом побольше? Говорю Монике, что мне нужно в туалет. Смотрю на дверь кабинета — она открыта. Бесшумно подхожу ближе; сердце бьется с перебоями. Я хочу узнать, что скрывается в этой комнате, куда всем запрещено входить. Заглядываю в дверную щель — и ничего не понимаю: я вижу там себя! Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы в этом убедиться: в кабинете стою именно я — по крайней мере, там находятся моя голова и верхняя половина тела. Меня охватывает паника, чудится, будто я попала в эпизод «Сумеречной зоны». На самом же деле я просто вижу свое отражение в большом зеркале кабинета. Это усталость шутит со мной такие шутки. Отвожу взгляд от зеркала и внимательно осматриваю комнату. Как голодная в поисках еды. Под зеркалом — письменный стол, на нем большой серый компьютер, какие показывают по телевизору, стопка папок. И фотография в рамке. На ней стоят Джеймс, Моника с Саймоном на руках и Льюис. Внезапно дверь захлопывается изнутри. Делать нечего, пора вернуться в кухню и разыграть там обычный спектакль. Спустя

несколько секунд Джеймс выходит из кабинета и запирает дверь. На два оборота.

На скорую руку. Именно так. Сегодня утром я прибиралась на скорую руку. Я решила действовать на манер индейцев-сиу, чтобы работать поменьше и выигрывать больше времени на подготовку к экзаменам. Порой мне кажется, что я никогда не достигну цели. Ох уж эта постоянная неотвязная усталость! Случаются и вовсе невыносимые дни, когда меня мучат непонятные боли, а груди мешают одеваться и ноют, когда я ложусь на живот. Может, это психосоматика? Пытаюсь урезонить себя. Я здесь для того, чтобы учиться, чтобы преуспеть, и какой бы высокой ни была цена победы, я должна за нее бороться.

Сижу в своей каморке, учу профессиональную лексику политологов и обозревателей текущих событий. Это титанический труд. Мне кажется, что я одолеваю неприступную гору сложных понятий: *press release, foreign trade, a knock-on effect, blaze, specialized press*...[30]

Мука мученическая, хотя я и знаю, зачем это делаю. Мне до сих пор многое непонятно. Жутковатый сеанс самоистязания в хозяйской молельне, отрешенное состояние Моники, запрет покидать «Хидден-Гроув», ощущение, что стены

---

[30] Сноски: 30

Пресс-релиз, внешняя торговля, эффект домино, вспышка, специализированная пресса *(англ.)*.

моей каморки сходятся, чтобы раздавить меня… Я задыхаюсь среди всего этого.

Но есть и кое-что другое.

Я пытаюсь написать по-английски статью о рождении Интернета, но дело не клеится: вместо этого передо мной на страницах моей тетради маячат члены принявшей меня семьи, все четверо. Ее состав мне известен — смотрите фото на столе моего хозяина: Джеймс, Моника, Льюис и Саймон. Голова у меня раскалывается от боли.

Волосы Саймона!

Вот что с самого начала не давало мне покоя! На этом семейном снимке у Саймона *светлые* волосы!

Светлые, как пшеничное поле.

Светлые — среди трех темноволосых голов.

Мне чудится, что мое тело стало многотонным, что оно грузно и недвижно, как многоэтажный дом. У меня нет сил подняться со стула. Саймон был блондином, а теперь он темноволосый! Разве светловолосый малыш может за такое короткое время превратиться в шатена?! Что-то не верится. Но если в эту перемену не вмешалась природа, то какие родители вздумают перекрашивать в шатена двухлетнего малыша?! Ладно, предположим, отцу и матери не нравился цвет волос

их ребенка, отличающий его от других членов семьи. Все они брюнеты, а малыш — светлый блондин, и на фотографии это сразу бросается в глаза. А родителям хочется, чтобы их младшенький *соответствовал* остальным, — так в дорогих магазинах подбирают красивую кожаную сумку в цвет платья, чтобы не нарушала ансамбль. В мире богачей все возможно — я просто не знаю их правил игры. Но едва я приняла эту гипотезу, как у меня родилась другая.

Может, эти психи решили изменить внешность сына, чтобы его нельзя было узнать, если мальчику захотят навредить? Например, какие-то дела Джеймса поставили под угрозу жизнь его семьи. Да, такое не исключено. И вполне объясняет истерику Моники: ребенка разрешалось перевозить только в машине — в коляске он был беззащитен…

Паника приковывает меня к стулу.

Я боюсь вопросов, которые сама же себе задаю. Боюсь узнать, что совершили мои хозяева или что они затевают. До какой степени доходит их безумие? Проклятье — кажется, я совсем сбрендила! Но не могу же я пойти к ним и заявить: «Так вот оно откуда — то пятно за ушком Саймона! Значит, вы перекрасили волосы своему ребенку? Значит,

вы больные на всю голову?» Ведь это наверняка вызовет ярость Моники, неприязнь Джеймса и недоумение мальчиков. Но что же мне все-таки делать, черт возьми? В какой момент моя жизнь стала страшней, чем в хоррорах, которых я начиталась досыта? Почему, каким образом все пошло наперекосяк? Куда я угодила? И отчего такие вещи случаются именно со мной? Эти три месяца, проведенные под домашним арестом, вконец развинтили мне нервы, а усталость притупила сознание. Я чувствую, что измотана до предела.

Собравшись с силами, опираюсь на руки, отодвигаю стул и встаю на дрожащие, онемевшие от страха ноги. Мне кажется, что я смотрю на свое тело со стороны. Вижу, как открываю дверь каморки и прислушиваюсь, желая убедиться, что в доме никого нет. Вхожу на родительскую половину. Как сомнамбула пересекаю ванную, останавливаюсь перед раковиной, открываю висящий над ней шкафчик и смотрю. Там по-прежнему стоят флаконы с роскошными духами, дорогущая косметика и все прочие аксессуары, необходимые для наведения красоты; раздвигаю их в поисках коричневой краски для волос.

И не нахожу ее.

Медленно, тщательно обшариваю каждую

полочку, переставляю флаконы, заглядываю в каждый уголок. Ничего… Роюсь в мусорной корзине. И там ничего похожего. Краска словно испарилась; хуже того — может, ее никогда и не было? Я ведь ежедневно опорожняю все мусорные корзины в доме и уж наверняка заметила бы такой предмет — он был сантиметров десять в высоту, не меньше. Или его спрятали либо выбросили где-то вне дома? Мое тело автоматически присаживается на бортик ванны, а в затуманенной голове звучит вопрос: «Что, если этот флакон вообще никогда не существовал, а я просто свихнулась и придумываю все эти истории, лишь бы отвлечься от своего монотонного существования, чужого языка, иных ценностей, загадочных религиозных ритуалов, тоски по своему далекому дому, смерти Морганы, уединенной жизни, стен, которые я вижу или воображаю?» Я дошла до предела, я уже не сознаю, что делаю, я вообще ничего не понимаю. Мне чудится, будто я угодила в мир Ричарда Матесона, гнусный и грозный. В голове мелькают персонажи с прочитанных мною страниц. Но их-то я знаю по книгам, а вот кто придумал такое испытание — реальное существование среди этих полоумных? За что оно мне? Почему я не могу жить, как все нормальные

девушки, которые зачитываются любовными романами, ходят на танцы, встречаются с парнями? Во что я превратила свою жизнь?

Я злобно пинаю мусорную корзину, и все ее содержимое вываливается на пол. Ох, как приятно делать прямо противоположное своим обязанностям! Сейчас я антитеза своей здешней профессии — девушки, готовой услужить хозяевам, девушки, которая прибирает в доме, выбрасывая все лишнее. Мне уже нечего терять, и я решаю разбередить свою рану, пасть еще ниже. Разглядываю то, что осталось в корзине, — мелкие частицы жизни моих хозяев, худшей ее стороны, мусор, прилипший к стенкам, ошметки, от которых избавляются, которые прячут от чужих глаз: вычесанные волосы, желтые от серы ушные палочки, скомканные обертки из-под мыла, использованный, липкий от спермы презерватив… Меня буквально тошнит от всего этого.

Но тут отворяется дверь.

Я стою на четвереньках, извергая блевотину на эту помойку. Моника, застыв на пороге, обводит меня взглядом. Не могу понять, чего ей больше хочется — убить меня, пожалеть или игнорировать. Она просто молчит и смотрит. Извергнутая рвота почти прикрывает отбросы на полу.

— Прошу прощения, Моника, меня замутило…

Ее взгляд смягчается, становится сочувственным. Такого выражения я у нее еще не видела, оно ей идет. И я добавляю:

— Не беспокойтесь, я сейчас все отмою.

Ну разумеется, а как же иначе?!

Я лежу у себя в постели, на животе, сунув руки под подушку. Ощущаю гладкое полотно простыни и слегка ерзаю, чтобы потереться о нее, устроиться поудобнее. Мне хочется спокойно, без кошмаров, поспать, отдохнуть от всего; и пускай мягкое покрывало ночи окутает и убаюкает меня. Я уже погружаюсь в сон, который смотрю оттуда, где я сейчас, на границе между забытьем и явью. Легонько балансирую, зная, что любой пустяк может вызвать мое падение… но нет, я все еще *здесь*. И вдруг ощущаю под грудью какое-то тепло, а под своими руками — чужие руки; к моей щеке прижимается чужая щека, а волосы смешиваются с чьими-то другими. Волшебное и страшное ощущение. У меня в постели появился кто-то еще. Я готова завопить, но вместо этого безвольно погружаюсь в какое-то странное оцепенение: мне нечего терять, мне все безразлично. Как вдруг меня осеняет: это же Моргана!

Мой двойник, мое потустороннее подобие.

Мы с ней так близки. Я готова заплакать, обнять ее, прижать к себе, сказать: «Ну-ну, успокойся, все прошло!» Но нет, не могу. Она *там*, в своем мире.

Затворница.

Моя кровать опрокидывается: теперь я лежу внизу, а Моргана наверху. Она — в моей комнате. И живет моей жизнью, а я открываю для себя ее лимб. И мы никогда, ни на миг не сможем встретиться, хотя она всегда будет где-то рядом. Почему она не ушла совсем?

Нынче утром, спускаясь вниз, к завтраку, я уже не могу изображать услужливую помощницу, достаточно глупую, чтобы выглядеть довольной своей судьбой, и об этом недвусмысленно свидетельствует мое перекошенное лицо. Моника немедленно притворяется, будто озабочена тем, что со мною происходит:

— Эммилу, вы явно переутомились! Если хотите отдохнуть, я освобожу вас на вторую половину дня и сама займусь мальчиками.

Мне совершенно не улыбается выглядеть жертвой и тянет ответить, что я справлюсь, но вместо этого я говорю:

— Да, спасибо.

Прибрав в доме, я растягиваюсь на своей кровати, где отныне спят двое: *recto* — я, *verso*[31] — Моргана. И открываю сборник Ричарда Матесона.

Сегодня днем я не занимаюсь — хватит с меня, не желаю корпеть над учебниками вдали от моей повседневной жизни! Читаю его потрясающий хоррор «Адский дом». Это крутая история о том, как разгневанного героя постепенно, мало-помалу пожирает его собственное жилище. Но кто

---

[31] Сноски: 31
Лицевая сторона… оборотная сторона *(фр.)*.

из них двоих виноват? Дом, который медленно сходит с ума и превращает в ад жизнь своего хозяина? Или человек, которого грызет нарастающий гнев? Этот гнев разъяряет жилище до такой степени, что оно методично мстит человеку… Увлекательное чтиво, но жутковатое. Я люблю такие опасности, ничем не грозящие мне лично. Слышу внизу шаги Моники: три часа дня, она собирается ехать за детьми. Джеймс, конечно, как всегда, на работе.

Опустевший дом зовет меня. Иду вниз, подхожу к двери кабинета. Пробую открыть ее — нет, заперта. Иду в гостиную, подхожу к книжному шкафу: книг мало, все больше толстые глянцевые журналы, посвященные домашнему дизайну и таким шикарным, недоступным простым смертным видам спорта, как яхтинг или гольф. И множество фотографий. Вот они-то меня и интересуют. Разглядываю картины прошлого, заключенные в светлые деревянные рамки, — чудесная фотолетопись счастливой, безупречной семьи, о какой можно только мечтать. Хорошо одетые люди с принужденными улыбками на лицах. Безукоризненно организованное семейное сообщество. Но для кого все это? У меня дома снимки, сделанные дешевым фотиком, как пра-

вило, не отличались хорошим качеством. Зато они точно отражали нашу жизнь — беспорядочную, шумную, а теперь, после нескольких месяцев разлуки, я бы даже сказала, трогательную… Черт, я, кажется, стала сентиментальной! Да нет, эти фотоперсонажи прекрасны. За их спинами всегда солнце; они залиты его теплым, простодушным, умиротворяющим сиянием.

На одном из снимков — типа «отдых у моря» — мои хозяева одеты по-летнему: он в шортах, она в легком платье. Они позируют на фоне голубой лагуны; мальчики в трусиках, а главное, оба темноволосые. Впрочем, на снимках, сделанных в доме, у Саймона тоже темные волосы, либо его вовсе там нет. Здесь демонстрируются все этапы повседневной жизни этой счастливой семьи: каникулы, школьные праздники и экскурсии, свадьба, рождение детей. Вот прекрасное фото, где Моника держит на руках новорожденного сына. Цвет его волос определить невозможно: на головке младенца белый чепчик. И так же невозможно понять, кто это — Льюис или Саймон. Моника сияет, она потрясающе красиво причесана и слишком ярко накрашена для женщины, которая только что родила и теперь с нескрываемой гордостью демонстрирует младенца. Лично

мне такая радость чужда. Разве это не странно — воспроизвести себя в новом существе и почти тотчас выставить его напоказ? Вдобавок я сильно сомневаюсь, что женщина может быть в такой прекрасной форме всего через несколько дней после родов. Вспоминаю, как выглядела моя мать, когда показывала мне в роддоме мою младшую сестру: жирные, немытые волосы и кислая улыбка, говорившая: «Ну что, вы довольны, получили свое фото?» Или даже не так, а куда откровеннее: «Идите отсюда, я спать хочу!»

По снимкам моих хозяев я изучаю их жизнь, их окружение, их прошлое — подлинное или поддельное.

И хочу выяснить, почему волосы Саймона не сохранили свой природный цвет, — это не дает мне покоя.

Возвращаюсь в свою каморку и пишу письмо Виржини.

Лондон, 28 ноября 1996 года

Привет, Виржини,

надеюсь, у тебя все в порядке. Уж не знаю, как обстояли дела, когда ты здесь работала, но мне достается по первое число, я совсем выбилась из сил. И как

только ты справлялась?! Ты не говорила мне, что это настоящая каторга. А главное, здесь творится много чего странного. Когда я вышла из резиденции погулять с Саймоном, не спросив разрешения у Моники, она прямо взбесилась и закатила мне дикий скандал. И вдобавок вот что: я обнаружила, что волосы у малыша покрашены в темный цвет. Ты не знаешь почему? И еще об их религии – ты мне об этом ничего не сказала. Может, они принадлежат к какой-то тайной секте? Мне тут удалось прочитать их молитву – очень странную. А Льюис болен, это точно, но никто мне не говорит, что с ним. Наверно, все их дела меня и не касаются, но я уже не могу держать это в себе, я просто задыхаюсь, и мне день ото дня все страшнее.

Напиши мне, как ты там, и успокой меня.

Целую,

Эммилу

P. S. Я обнаружила в нашей комнатке, внизу на стене, за кроватью, слова по-английски: «Я знаю, зачем я здесь». Это ты

написала?

Вот уж не думала, что меня пригласят к соседям моих хозяев. До сих пор я ни разу не была у них в гостях, а словно играла роль марионетки в одном-единственном спектакле одного-единственного театра. Путь туда недалекий — особняк Дэвида и Лайзы стоит слева от нашего. Лайза открыла сегодня рождественский бал декораций в «Хидден-Гроув»: ворота и балюстрада обвиты гирляндами лампочек, окна и двери украшены пышными венками остролиста, обвязанными красными лентами. Четыре фонаря из кованого железа на ступенях у входа в дом указывают гостям дорогу, освещая ее своими теплыми огнями.

Нас пригласили на ранний ужин, так как в празднике участвовали дети обеих семей. На часах половина шестого. Я кажусь себе избранной особой. Прохожу мимо комнаты Моники; дверь открыта, и я вижу, что она в раздумье стоит перед кроватью, на которой разложено множество платьев, — какое из них выбрать? Иду в свою каморку и подражаю хозяйке: все-таки нынче я гостья на торжественном приеме. Выкладываю на кровать две пары своих джинсов и пару свитеров. Богатый ассортимент, нечего сказать… Рассматриваю их, размышляю. В дверях появляется Моника и

одним взглядом окидывает все помещение. От ее красиво уложенных волос, сбрызнутых духами «Шанель», веет волшебным ароматом — так и хочется зарыться лицом в эту мягкую благоуханную массу. Даже не знаю, что меня больше всего привлекает в ней — имидж матери, которой она могла бы стать для меня; супруги, каковой она является, или просто женщины? В любом случае я очарована ею и смущена. Зачем она ставит меня в такое положение? Чего добивается?

— Эммилу, хотите, я вам одолжу какое-нибудь платье на этот вечер?

Я тронута до глубины души. Вообще-то, я терпеть не могу носить платья — не хочу выделяться и выглядеть *sexy*. Но я так восхищена ее красотой и неожиданным проявлением доброты, что соглашаюсь.

Она ставит меня перед своим зеркалом и вынимает из шкафа два платья. Одно очень стильное — черно-белое, как я выразилась, — но она сразу поправляет: черное с белой отделкой. А второе — из бордового бархата. Оба платья скромного покроя, длиной мне чуть-чуть ниже колена, потому что я ниже ростом, чем Моника. Она стоит сзади, прикладывает ко мне то одно, то другое платье и расправляет их, чтобы посмотреть,

которое мне идет больше. Сама я никак не могу решить. Наконец Моника кладет мне на руки бархатное бордовое. Я чувствую, что нынешний вечер вообще какой-то необычный: мне даже не пришлось одевать детей, они уже готовы. Все трое наших мужчин, принаряженные, ждут внизу, у лестницы.

Джеймс с улыбкой смотрит, как мы сходим по ступеням. Он явно готовится отпустить комплимент, но вовремя одергивает себя. Интересно, кому же он его предназначал? Ей или мне? Раздумываю над этим вопросом, направляясь вместе с моими хозяевами и их детьми к соседнему дому и мысленно моля Бога, чтобы это была не я.

Нынче вечером мы все — одна семья.

Обожаю бывать в гостях! Вот уже три с половиной месяца, как я пытаюсь представить себе скрытую, внутреннюю жизнь соседних величественных особняков, которую можно лишь мельком увидеть через широкие эркерные окна. Все это время я ходила только по «своему» дому, и теперь мне безумно хочется попасть в какое-то новое, иное пространство; я мечтаю заблудиться, ошибиться дверью, затеряться в незнакомом коридоре, не найти нужных бокалов, открыть три посудных шкафа, прежде чем разыскать салатницу; мечтаю зажмуриться от бьющего в глаза света чужой лампы, спутать чужие выключатели, споткнуться на чужих, слишком пушистых коврах. Ну же, удивите меня, сбейте с толку!

— О-о-о, добро пожаловать!

Нам открывает Дэвид; он такой долговязый, что меня одолевает смех, — чудится, что его может согнуть малейший порыв ветра. Сразу ясно, что его наряжала не Моника: на нем бежевые вельветовые брюки, рубашка в красно-синюю клетку и шерстяной жилет цвета хаки с роговыми пуговицами — дурацкое сочетание! Я никогда не видела, чтобы он улыбался, да ему это и не идет, зато он внушает доверие — чувствуется, что человек он славный… Еще в передней меня

окутывает атмосфера роскоши. Теплый ярко-желтый свет плафонов, ламп и свечек приятно сочетается с влажным дыханием радиаторов и ароматами надушенных человеческих тел. Дом благоухает деревом и огнем, и этот запах мягко обволакивает нас всех. Похоже, нынешний вечер примирит меня с моей работой, с моими хозяевами, с богачами и, пожалуй, даже с Англией. Мы входим в гостиную — но хозяйки дома там почему-то нет. Так где же Лайза? Если бы мне пришлось описывать интерьер этого особняка для какого-нибудь глянцевого журнала вроде тех, что обожают Уайты, я бы назвала его «лесным». Здесь главенствуют именно такие краски: каштановый цвет древесных сучьев, зеленый — еловых веток и оранжевый — осенней листвы. Нас усаживают на диван, обтянутый вельветом цвета хаки, с видом на оленью голову, красующуюся над камином. Она неотрывно смотрит на меня — ни дать ни взять охотничья Джоконда. Я вскакиваю, чтобы помешать Саймону пропороть себе бок каминной кочергой, и вдруг явственно ощущаю боль раненого зверя.

Черт возьми! Неужели мне придется весь вечер переживать из-за убийства, которого я не совершала?! На стене, чуть в стороне от камина, висит

охотничье ружье. Интересно знать, что это: произведение искусства, фамильная реликвия или напоминание об удачной охоте? Льюис присел на самом краешке дивана, словно не желая мешать остальным. Он принес с собой какой-то роман и читает. Держится, как всегда, спокойно, однако выглядит слабее, чем обычно.

Мне кажется, Льюис так крепко вцепился в свою книгу, потому что боится упасть. Моника присела рядом с ним и положила руку ему на колено, словно желая удержать от падения. Я встречаюсь с ней взглядом, и мне кажется, будто ее глаза говорят: «А ты-то здесь при чем?» Джеймс стоит, прислонясь к стене, и что-то обсуждает с Дэвидом. Внезапно в дверях появляется Лайза в широких зеленых брюках, пушистом оранжевом пуловере и пестром шарфе. Она торжественно вносит большое блюдо, на котором выстроились безупречно ровные ряды птифуров. Обернувшись, она смотрит назад, как будто подзывая кого-то взглядом. У нее за спиной стоит Дори; вид у нее неуверенный, и уж конечно, она не выглядит хозяйкой дома, хотя и держит поднос с бутылкой шампанского и бокалами, который затем аккуратно опускает на низкий деревянный стол, успев при этом бросить на меня смущен-

ный взгляд. Дэвид подходит к лестнице и зовет близняшек:

— Элис! Эбби! Спускайтесь к нам, *darlings*!

Darlings! Я чувствую укол зависти: хозяин обращается с дочерьми почтительно, как с гостьями в их собственном доме. Смешки, поспешный топоток — Эбби и Элис бегут вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. У обеих пятилеток совершенно одинаковые круглые личики, обрамленные рыжими кудряшками, одинаковые пухлые фигурки, одинаковые бархатные оранжевые платьица. Родители, видимо, так довольны этой парочкой близняшек, что стараются забавы ради подчеркивать их неразличимое сходство именами и нарядами.

Мне хотелось новых впечатлений — что ж, я их получила. Итак, все в сборе, Дэвид и Лайза объявляют вечер аперитивов открытым. Я наслаждаюсь всем, что вижу, что могу рассмотреть. Нынче у меня бенефис: Моника и Джеймс не скупятся на похвалы в мой адрес: я, мол, такая исполнительная и такая серьезная! Неужто они забыли про мой самовольный выезд за ограду вместе с Саймоном? «*Darlings*, она будет журналисткой, вы еще услышите о ней! Запомните ее имя!» Мне как-то не по себе — по-моему, они

здорово пересаливают. Но Дэвид и Лайза вежливо слушают, время от времени скептически поднимая брови. А я смущаюсь оттого, что оказалась в центре внимания.

Наконец Лайза меняет тему, спросив Монику, хорошо ли цвели в этом году ее далии. Я облегченно вздыхаю и начинаю оглядывать гостиную.

Неужели у этой пары тоже есть место для молитв? Похоже, что да: в углу гостиной стоит такое же, как у нас, низкое сиденье. Верующие? Что ж, если они не скрывают своей принадлежности к распространенному в Англии протестантству, значит религия им по душе. Дори сидит в кресле с обивкой в желтую шотландскую клетку. Этот цвет не сочетается с ее лицом, придает ему какой-то болезненный оттенок. Ей, должно быть, лет двадцать, но она выглядит намного старше меня. Интересно, она от природы такая блеклая или просто неудачно накрасилась сегодня вечером? Хозяева даже не подумали нас познакомить. Лайза просит Дори принести детям сосиски в тесте. Я вскакиваю, чтобы помочь ей. Лайза и Дэвид не успевают меня остановить, я уже в кухне. Джеймс приоткрывает дверь и напоминает об угощении для Саймона. В кухне царит жуткий кавардак, но я замечаю плиту — она мне знакома, у нас в доме

точно такая же.

Да и все остальное здесь — один к одному как у моих хозяев: плита, а под ней большой белый шкаф; глубокая раковина из бежевого мрамора, справа от нее — четырехугольная мусорная корзина. Мои руки и мой взгляд изучают эту чужую кухню, знакомую мне как родная. Машинально отворяю дверцу шкафа под плитой и вижу стопку маленьких фарфоровых тарелочек. Они темно-голубые, с букетиком посередине! Я протягиваю к ним дрожащую руку. Значит, Дэвид и Лайза пользуются точно такой же посудой, что Джеймс и Моника? Быстро достаю одну тарелочку, ставлю ее на поднос рядом с едой и бросаюсь к шкафу с чашками и стаканами. Прозрачные бокалы на коротких ножках, пузатые рюмки из узорчатого стекла — абсолютно такие же, как у нас. Выдвигаю ящик для столовых приборов: ножи тоже неотличимы от наших — те же зубчатые лезвия и черные роговые ручки с позолоченными гвоздиками. Дори уже стоит возле двери. Нам пора. Мы с ней молча переглядываемся.

У меня в руках блюдо с угощением, у нее в глазах — вопрос.

Но мы обе не говорим ни слова.

В продолжение всего этого приема (то ли вечера аперитивов, то ли коктейль-ужина, как я недавно узнала, где гостей усиленно потчуют птифурами и сэндвичами, поскольку хозяйка дома поленилась приготовить настоящую еду) я старательно улыбалась, хотя мне не давал покоя очень важный вопрос: почему у них точно такая же посуда, как у моих хозяев? От тарелок до ножей. От бокалов до подносов. Из-за сходства вкусов? Не может этого быть: мои любят шик, любят великосветскую роскошь, тогда как Дэвид и Лайза относятся скорее к категории упертых сельских жителей. Так почему же кухни в их домах похожи как две капли воды? Неужели дизайнеру не хватило фантазии? Только теперь я осознаю, что, если убрать отсюда многочисленные картины, плотные драпировки, оленью голову, большие причудливые вазы и книги в золоченых переплетах, небрежно брошенные на ковер, дом Дэвида и Лайзы будет стопроцентно похож на дом Джеймса и Моники. Никак не могу понять, что связывает эти две пары. Они даже не очень-то и дружны.

Бдительно следя за Саймоном, я одновременно прислушиваюсь к беседам гостей.

Кто-то повествует об адской трудности своей работы и о страстной любви к ней:

— Слава богу, оказалось, что можно рассчитывать на бонусы за усердие; я этого прежде не знал.

Кто-то хвалит свои занятия гимнастикой:

— Теперь у нас новый тренер, зовут Джим, так что мы с ним занимаемся *Джимнастикой*.

— Ну и ну! Это ж надо такое придумать!..

— Хо-хо-хо! — звучит чей-то жирный смех.

Я жадно вслушиваюсь в разговор о качестве преподавания в частных школах:

— Они безумно дорогие, но это лучшее образование, какое наши дети могут получить в Англии!

Бурные дебаты, шумные восклицания, неудержимое хвастовство — все это мало похоже на диалоги, на дискуссию. Гостям нечего сказать друг другу, но они говорят, говорят — скорее для самих себя.

Каждый талдычит свое и никак не может остановиться. И однако я уверена, что все они сочтут сегодняшнюю вечеринку прекрасной и что каждая пара, в уединении своей спальни, будет вспоминать ее, говоря: «So nice, aren't they?»

«До чего же милые люди, правда?»

Потому что никто из гостей не смотрел вокруг себя.

И никто из них ни разу не взглянул на Дори.

Наконец соседи и соседки прощаются друг с другом в освещенной передней. Гости снимают с деревянной вешалки толстые пальто и теплые шарфы, обещая друг другу новые встречи и при этом втайне радуясь скорому возвращению домой; детишки бегают взад-вперед и путаются под ногами у взрослых, чтобы напомнить им о своем существовании, уличный холод проникает в настежь распахнутую дверь. И никто не замечает юную помощницу по хозяйству, этот безгласный предмет обстановки в доме Дэвида и Лайзы, — Дори, пухленькую Дори, устало опустившую руки, одинокую в этой толпе гостей. С мрачным взглядом. С расширенными глазами, в которых я вижу мрачную бездну, полную страха.

Беспокойная ночь, липкая, сырая и безлунная. Мне чудится, будто я так и не покинула дом Дэвида и Лайзы. Все ушли, а я осталась. В темноте. Ноги будто налиты свинцом. Дори стоит напротив. Она как пухлая кукла, с мягкими руками и ногами, но взгляд у нее тяжелый, пристальный, пугающий. Мы оказались в гостиной одни, в безмолвном противостоянии. За долю секунды мое тело скользнуло к ее телу. Мое лицо — в десяти сантиметрах от ее лица. Все та же ужасная тишина. Я погружаюсь в тесную темноту ее зрачка, тону в нем. Изо всех сил пробиваюсь вперед в этом влажном туннеле, прокладываю себе дорогу, боясь задохнуться; мои руки шарят по поверхности, пытаются за нее ухватиться — только бы не сдохнуть в этой вязкой трубе. И вдруг — пустота, бездонная пустота, я падаю. Но не камнем, а как лепесток — я чувствую себя невесомой. Секунды передышки, мне хочется поблагодарить кого-нибудь — спасибо, что поставили этот кошмар на паузу. Но благодарить в этой бездонной дыре некого. Мне в лицо внезапно врезаются различные образы, они пронзают мое тело, взлетают над моей головой. Мозг успевает зафиксировать несколько сцен: вот Дори с близнецами, все трое одинаково пухленькие, так что кажется, будто это

мама с дочками; они стоят на коленях, молятся, обхватив друг дружку за шею и раскачиваясь из стороны в сторону. Вот Дэвид и Лайза, похожие на собственных дочерей, которые похожи на Дори, с коварной улыбкой стоят бок о бок в дверном проеме своего богатого дома… Указательные пальцы прижаты к губам, это недвусмысленный призыв к молчанию. Внезапно за эркерным окном возникает человек с оленьей головой; монстр пытается сорвать с себя эту голову, тянет ее, но тщетно. Я задыхаюсь. Это зрелище невыносимо. Наконец голова отскакивает, тело чудища оказывается моим собственным телом, я вижу свое искаженное лицо, свою багровую кожу, я в ужасе, нужно немедленно это остановить, и я делаю то же, что делала в детстве. Меня тогда так утомили мои реалистичные кошмары, что однажды вечером, перед тем как лечь спать, я сказала себе со всей серьезностью: «Как только попадешь в плохой сон, сразу громко произнеси: *„Я внутри сна Эммилу Лаэнек!“* После этого страх уйдет, потому что сон будет у тебя под контролем». Вот и сейчас мне удалось выбраться из этого ночного ужаса, но хуже всего, что я знаю: его причина — моя реальная жизнь.

За этим миром, который старается выглядеть

красивым, что-то скрывается.

— Как вам кажется, вы когда-нибудь станете королевой?

— Нет, не думаю. Мне хотелось бы стать королевой людских сердец, но в роли королевы этой страны я себя не вижу…

Я только что включила телевизор, сейчас 21:50, и я не могу сосредоточиться на своих уроках, я устала, мне муторно, больно, а мои хозяева все еще ужинают у соседей. Кто эти соседи — я не знаю, мне стараются говорить о них как можно меньше. Я стою перед экраном с пультом в руке, стараясь убедить себя, что просто переключаю каналы и скоро поднимусь в свою комнату, чтобы повторить главу о Европейском союзе. Но я не могу. Я загипнотизирована. Передо мной лицо, полное такой нежности и печали! Эти слова произносит принцесса Диана. Она сидит у себя в гостиной в белом кресле с золотыми гво́здиками. Интерьер шикарный, в светлых тонах. На элегантном лакированном столике орехового цвета много фотографий в рамках, на которых можно разглядеть людей разного возраста и роста: наверное, это ее близкие и дети. Видны бесконечно длинные ноги, обтянутые тонкими черными колготками, темная юбка и в тон к ней — темный бархатный жакет. Камера быстро

оставляет общий план и приближается к лицу, слегка склоненному вправо, — ее особый ракурс, ее визитная карточка. У нее огромные глаза, под ними темные круги.

— Не думаю, что многие люди хотели бы видеть меня королевой. Говоря «многие», я имею в виду истеблишмент, в который я вошла и который считает меня неудачницей.

Какая сила в этих словах. Она говорит очень спокойно и сдержанно, короткими, разящими фразами, ее английский мне понятен. Я медленно опускаюсь на диван. И не могу поверить тому, что слышу. Проверяю, какой канал я смотрю. Это Би-би-си-1[32].

Журналист снова спрашивает принцессу:

— На ваш взгляд, почему они так считают?

— Потому что я делаю все по-другому, я не следую правилам, я слушаю свое сердце, а не разум, и здесь возникают неприятности. Я понимаю это, но кто-то должен любить людей и помогать им. У меня нет большой поддержки в семье, они видят во мне угрозу, но я здесь, чтобы делать добро, я

---

[32] Сноски: 32

Судя по всему, героиня смотрит интервью, которое принцесса Диана дала журналисту программы «Панорама» (канал Би-би-си-1) Мартину Баширу; однако, как следует из дальнейшего, действие романа происходит в 1996 году, а интервью впервые вышло в эфир годом раньше, 20 ноября 1995 года.

не разрушитель.

— Почему они видят в вас угрозу?

Черт, а ведь это отличный журналист! Он позволяет леди Ди говорить, он ее слушает и в то же время ведет свою линию, формулирует правильные вопросы. Я до смерти завидую этому интервьюеру — мне никогда такой не стать, если я не улучшу свой английский. Я очарована этой женщиной, ее отвагой, ее искренностью. Ведь это требует смелости — впустить телевизионщиков в свой дом, сказать людям правду и — возможно, невольно — шокировать правящие круги. У нее хватает мужества противостоять королевской семье, разоблачать ее трусость, ее жестокость. Диана говорит с миллионами зрителей. В прошлом году на уроках английского мы обсуждали канал Би-би-си-1. В иные дни его телеаудитория составляет пятнадцать миллионов… Сегодня вечером канал побьет все рекорды.

— *Почему они видят в вас угрозу?*

Завороженная, я пересаживаюсь на журнальный столик — теперь лицо Дианы находится всего в тридцати сантиметрах от моего. Оператор больше не снимает интерьер, он фокусируется на принцессе. Дистанция между нами так мала, что я почти чувствую аромат ее кожи, запах ее волос

— тщательно уложенных, но мягких, живых. В эту минуту мне хочется быть ее любовником, ее матерью или даже ее сыновьями, чтобы иметь право провести пальцами по ее щеке, почувствовать ее тепло, утешить ее, сказать: «Тише, тише… Все будет хорошо».

— Я думаю, все сильные женщины в Истории проходили через подобное испытание. И эта духовная сила вызывает у окружения замешательство и страх. Откуда она у них? Где источник этой силы? Как они пользуются ею?.. Почему люди, публика меня поддерживают? Говоря «публика», я имею в виду всех людей, которых встречаю, а их очень много.

Я посмотрела интервью целиком… не знаю, сколько оно длилось. Это самое невероятное зрелище из всех, что мне доводилось видеть. Никогда не думала, что атомная бомба может взорваться так тихо. Я возвращаюсь на диван, оставив включенным Би-би-си-1. Ее голос. Глуховатый, спокойный голос, без скрытых эмоций, голос, который не торопится, не будит сомнения, голос, в котором все произнесенные слова на своем месте, слова сильные, правильные.

Эта женщина обладает властью. Властью заставить тебя жить. Рядом с ней ты больше не

одинока.

Я больше не одинока.

Сегодня вечером Би-би-си покажет отрывки из интервью принцессы.

– *О боже!* Я обязательно буду смотреть! Она совершенно чокнутая! Я читала в «Гардиан», что она все о себе рассказала: и о своей булимии, и о депрессии, и о любовнике… У нее был любовник!

Моника сама завела этот разговор за ужином. Она, наверное, полностью поглощена мыслями об интервью, вся в предвкушении, иначе бы не забыла сделать замечание Льюису, который так и сидит за столом с плеером и в наушниках. Мне не хочется делать ему знак снять их — он выглядит таким безмятежным с этим оранжевым поролоном на ушах.

Джеймс улыбается. Моника наслаждается острым привкусом скандала, несчастьями других. Ей хочется скрасить свою повседневность. Она встает, выходит и возвращается со сложенной пополам газетой. Разворачивает ее и читает:

— «В этом браке нас оказалось трое, так что было немного тесновато. На публике все выглядело хорошо, а наедине совсем по-другому».

Моника не замечает, как я смущена этим разговором о супругах, о неверности, о браке втроем.

— Ты только подумай, Джеймс! Она рассказывает о неверности своего мужа, она говорит о

Камилле, даже обвиняет королевскую семью в том, что там всегда ее отвергали. Послушай, что она говорит: «Букингемский дворец мне ни в чем не помогал. Не нашлось никого, кто бы меня поддержал».

На первой странице «Гардиан» — лицо Дианы и крупный жирный заголовок: «I Will Not Go Quietly». Я не понимаю смысла этой фразы и спрашиваю, что она имеет в виду. Джеймс — только он из них двоих любит объяснять — отвечает мне:

— Это значит, что она не будет молчать, ничто не помешает ей говорить.

Моника злится. Похоже, обаяние принцессы на нее совершенно не действует. Я сообщаю, что вчера вечером, когда их не было дома, уже посмотрела это интервью. Моника шокирована, как будто я сделала у них за спиной что-то плохое. Я видела выражение ее лица — она, конечно, сразу взяла себя в руки, но я успела заметить. Джеймс интересуется моим мнением о принцессе. А я так устала! Еще несколько месяцев назад я с удовольствием пыталась бы говорить, спорить, оттачивать свой английский, но сегодня у меня нет сил. Я мямлю:

— Она… она храбрая женщина. В Букингемском дворце, наверное, к такому не привыкли. У них

там принято делать вид, что все отлично, и тут приходит она и говорит правду как есть.

Моника потрясена:

— Правду? Какую правду? Мы же ничего не знаем. Она рассказывает бог весть что, пытаясь выставить себя жертвой. По-вашему, если не можешь приспособиться, надо обвинять в этом других? Она опасна, она пренебрегает обязанностями, пренебрегает своим долгом! В семье надо соблюдать правила и держать рот на замке.

Меня озадачивает и ее агрессивность, и взгляды на семью. Я смотрю на Джеймса, чтобы оценить ситуацию. У меня такое чувство, будто я нахожусь между своими родителями, и я не знаю, как мне сейчас быть.

Джеймс спокойно отвечает Монике:

— Я скорее согласен с Эммилу. Это очень храбрая женщина. Мы не знаем, что́ ей приходится терпеть во Дворце. По-моему, у них там далеко не все безупречно.

Моника бросает на меня ледяной взгляд. Говорит ее муж, но виновата я. Резко встав, она скрывается в кухне. Саймон пользуется этим и радостно размазывает морковное пюре по столешнице своего высокого стульчика. Что ж, я делаю свою работу: вытираю еду и занимаюсь

ребенком.

Шесть утра. Я встаю раньше остальных, чтобы поразмыслить. Ополаскиваю лицо ледяной водой — мне нужна ясность ума. Моя хозяйка меня не любит. Родители Саймона красят ему волосы в темно-каштановый цвет, а ведь ему всего два года. Льюису десять лет, и он ходит с костылем; с каждым днем ему все труднее и больнее, а я по-прежнему не знаю, что у него за болезнь. Обитатели этой резиденции живут в схожих домах, как будто их всех для чего-то рассовали по одинаковым коробкам. Девушки-помощницы недоступны: мне не удается пересечься с Нэлой, Дори словно бы не в себе, и я только мельком видела домработницу Митчела в саду и возле особняка. Я помню ощущение простоты и порядка в день моего приезда — тогда меня это поразило. Резиденция без истории, в которой течет спокойная, безмятежная жизнь. Да, но что это за сообщество, где существует подобная идиллия? Тебе давно надо было засомневаться, жалкая ты дура из бедной семьи, грезящая о богачах! Мне невыносима эта клетка, из которой я не могу выйти без того, чтобы моя хозяйка не подняла крик!

Чего она боится? Что я сбегу, украду ее ребенка, что кто-то увидит и похитит ее кровиночку? Я мысленно выкладываю на маленький столик все

камни, которые скопились у меня в почках. Я вижу, как стою на четвереньках и давлюсь рвотой над использованным презервативом, обнаруженным в мусорной корзине в ванной комнате моих хозяев. Зачем им презервативы, если они женаты? Замужние женщины уже давно принимают противозачаточные, разве нет? Может, один из них чем-то заразился или Джеймс ей изменил? Я понятия не имею о взрослых отношениях, — возможно, я нервничаю абсолютно попусту. Черт, мне даже думать об этом неохота! Это противно и унизительно! После завтрака, как только все расходятся, я выскальзываю на улицу. Там пасмурно и холодно, нет ничего хуже английского неба в декабре. Но мне плевать: сегодня что-то произойдет.

Направляюсь к дому Митчела и Холли. Каждое утро я веду наблюдение за жителями резиденции из эркерного окна на втором этаже и поэтому знаю их привычки. Восемь часов: Митчел выходит из дома, садится в машину и уезжает на работу. При нем всегда портфель из коричневой кожи. Обычно он не торопится: обрывает пожухлые листья с живой изгороди, подбирает сухие ветки и бросает их в большой мусорный контейнер из черного пластика, а потом еще делает

круг на машине, проверяя, все ли в порядке. И все всегда оказывается в порядке. Да и что может быть не так в суперохраняемой и наглухо запертой резиденции? Меня интересует именно этот промежуток времени. Эти пять минут, в которые наши жизни могут пересечься. Пять минут, которые могут немного рассеять туман. Я изображаю радостное удивление:

— Здравствуйте, Митчел! *Good morning, how are you doing today?*

– *Good, Emmylou.*

Он не ожидал этой встречи. Я стараюсь держаться естественно, понимая, что не успею задать ему тысячу вопросов. Сейчас я хочу только вызвать у него симпатию, чтобы когда-нибудь он пригласил меня к себе на чашку чая, предложил поговорить… Вдруг ему удастся меня успокоить? Мне необходимо с ним сблизиться, чтобы узнать побольше о своих хозяевах, о жизни в этой резиденции. Давно ли все они здесь поселились?

— Вы едете на работу?

– *Yes, my dear!*

Я завязала контакт, я пытаюсь сохранить эту ниточку. Показываю на его дом, на дом моих хозяев и говорю:

— Мне так нравятся ваши особняки, вы давно

здесь живете?

– *Well*, да уж порядочно! Лет восемь, не меньше.

Он уже сел в свой двухместный «мерседес» и посылает мне дружескую улыбку, а я успеваю помахать ему рукой. Черные ворота раздвигаются и выпускают его. А я возвращаюсь к себе, порядком разочарованная; мне не удалось толком ничего разузнать, холод хватает меня за горло, мне плохо, я чувствую себя идиоткой. Поднимаюсь на второй этаж, собираясь опять впрячься в уборку. По привычке бросаю взгляд в эркерное окно и внезапно вижу девушку, работающую у Митчела и Холли. Она как раз выходит из дома. На ней широкое пальто, вязаная шапочка и шарф — все черного цвета. Я как сумасшедшая, даже не успев накинуть пуховик, несусь вниз по лестнице, выскакиваю наружу и иду ей навстречу. До сих пор она ни разу не покидала дома, и я с ней еще не разговаривала.

– *Hey! Hello!* Я помощница у Моники и Джеймса!

Девушка, имени которой я не знаю, замирает, — видно, я ее напугала. Она не отвечает на приветствие.

— Прости, что я так на тебя набросилась, при-

ятно познакомиться!

Она не реагирует.

Внезапно за ее спиной открывается дверь и появляется Холли. Для зимнего месяца она разодета чересчур ярко: розовый шарф, фиолетовое пальто, красная шапочка. Вся эта красота — из чистой шерсти. Она кивает мне и направляется к своему джипу. Распахнув дверцу с пассажирской стороны, Холли велит девушке сесть в машину:

— Кристина, дорогая, ну что, едем?

Я смотрю, как они уезжают. Машу им рукой — *bye-bye!* И чувствую укол зависти — Кристина, дорогая… Холли так ласкова со своей помощницей. Почему я не попала к ним в семью? Я бы все отдала, чтобы жить среди этих светлых, открытых, веселых людей.

Возвращаюсь на второй этаж, беру ведро с моющими средствами. Обрызгиваю жавелевой водой детские туалеты, оттираю желтоватые капли мочи, которые стекли по внешней стороне унитаза… И мысленно пересматриваю сцену на улице: Митчел, Кристина, потом Холли. Чудесная семья, прекрасные соседи. Холли даже берет помощницу в город, они ездят туда вместе. Такое взаимопонимание мне ужасно нравится, и меня грызет обида. Это все равно что родиться

в плохой семье. Проклятье, да сколько же еще невезений меня здесь ждет?! Я-то воображала, что вытащила счастливый билет, приехав сюда, а оказалось — снова напоролась на привычные грабли. Какое разочарование. Но мой мозг тем временем продолжает работать.

Есть одна неувязка.

Черт…

Их ребенок.

Кто за ним смотрит? Я уже не первый раз задаюсь этим вопросом.

Они все уехали. Не может быть, чтобы его оставили одного.

Где он?

Моника с детьми возвращается в 15:43. На мальчиках одинаковые темно-синие пуховики. Одинаковые красные шарфики. Один ковыляет с костылем, другой переваливается на своих коротеньких ножках. Сразу видно — братья, пускай даже они не очень-то и похожи. Саймон коренастенький, Льюис длинный и худой. Я подхожу к младшему, который очень доволен, что не сидит в коляске; он протягивает ручки к моему лицу и неловко гладит щеки. «Милу!» Он говорит очень мало, и мне ужасно нравится, как он меня называет! Я стягиваю с него пуховик и встречаю взгляд Моники — тяжелый, угрюмый. Он озадачивает меня, но я продолжаю выполнять свои обязанности. На Саймоне ярко-синие вельветовые брючки, кашемировый свитер мышиного цвета, а под ним белая рубашечка. Очень элегантно.

— Вы его искупаете и наденете пижамку, хорошо? *Thank you so much, Emmylou.*

Моника умеет задавать вопросы, которые вопросами не являются. Правда, она и не ждет ответа. Запомню это на будущее, когда у меня тоже будет помощница по дому. Я смеюсь. Размечталась! Можно подумать, у меня когда-нибудь окажется достаточно денег, чтобы нанять прислугу. Раздевая Саймона, перед тем как по-

садить его в ванну, которая уже наполняется водой, я замечаю, что на внутренней стороне его синих брючек вышито имя Льюис. Вот оно что, они повторно используют одежду старшего! Это единственное, что объединяет их с моей семьей: у моей младшей сестры тоже не было новых вещей. Это очень удобно для родителей, но совсем не радует детей. А ведь Монике и Джеймсу нет нужды экономить.

За ужином я завожу разговор о детях «Ваши *so cute*, совершенно очаровательные!» Моника и Джеймс тают. Саймон, который говорит все лучше и лучше, всячески демонстрирует, что он тоже здесь и ему есть что сказать. Я пользуюсь дружеской атмосферой, чтобы поделиться своим восторгом:

— Я встретила помощницу Митчела и Холли. Она очень милая, но я ни разу не видела их малыша. У них мальчик или девочка?

Моника и Джеймс переглядываются так, будто уже давно подготовились к этому вопросу.

— Это длинная история… Не обижайтесь, но лучше в нее не углубляться.

Конечно-конечно, однако же мимоходом я узнаю, что существует какая-то проблема.

Моргана, к счастью, ты здесь. Даже после смерти ты живее, чем все, кто меня окружает. Сегодня вечером я задала простой вопрос о ребенке наших соседей и получила самый невразумительный ответ, какой только может быть. И знаешь, прошлая Эммилу приняла бы эту отговорку, смирилась с тем, что прямо перед ее носом захлопнули дверь: мол, знай свое место, девочка на побегушках. Жизнь взрослых так сложна. Мне нужно научиться принимать ее вместе с запретными темами и недомолвками. Но с тех пор как в моей собственной жизни произошел сбой, а в теле вроде как поселилась заноза, у меня только одно желание: просунуть в эту дверь ногу, не дать ей захлопнуться. Чтобы увидеть, чтобы понять. Виржини не отвечает на мое письмо. Может, ее встревожили мои жалобы, мои расспросы, а может, ей просто наплевать? Но я добьюсь ответов. Завтра же поговорю с Митчелом.

У меня есть идея.

Я жду нашего соседа — заметила, что он возвращается всегда раньше Холли, к трем часам. Закончив уборку, отношу ведро со швабрами в прачечную, аккуратно складываю свои тряпки. Надо же, я говорю прямо как моя мать, и это плохой признак. Она всегда добавляет «у меня» к любому дерьму: у меня белье не стирано, у меня сегодня уборка, у меня глажка. Это мнимое обладание совершенно не добавляет богатства, но зато отнимает достоинство, с каждым днем все больше и больше. Я решаю уделить время себе и начинаю поиски. Телевизор в гостиной стоит на тумбе с двумя выдвижными ящиками, в которые я никогда не заглядывала. Левый набит видеокассетами — и купленными фильмами, и несколькими записанными с телевизора, с более-менее разборчивыми ярлычками: немного английского кино и очень много американского. Я задвигаю этот ящик и выдвигаю второй. В нем обнаруживаются подборка романов в кожаных переплетах (для меня это признак того, что люди не читают, а покупают книги просто для того, чтобы пустить пыль в глаза), стопка журналов (исключительно гламурных — зеркало их благополучной жизни) и — в глубине — альбом с фотографиями. Я листаю его: это беспорядочная

мешанина из снимков детей, снятых в разном возрасте, альбом явно собран на скорую руку. На фото у Саймона каштановые волосы. А Льюис без костыля и ненамного младше, чем теперь, — на вид ему лет девять. Что же произошло за один год? Очень много фотографий, сделанных на каникулах. Я никогда никуда не уезжала и не узнаю эти виды, но небо на них всегда синее. Сердце у меня екает, когда я вижу фотографию Виржини, — она везет коляску с Саймоном, который снят крупным планом: ему несколько месяцев, виден крохотный вязаный чепчик голубого цвета. Льюис стоит слева от Виржини, оба улыбаются. Видно, что между ними полное согласие. На другом снимке Льюис совсем маленький, ему года два. На нем ярко-синие брючки, которые вчера были на Саймоне. Забавно. Сходство братьев бросается в глаза. Интересно, оно от природы или родители специально его подчеркивают? Мне нравится копаться в семейном архиве. Правда, меня удивляет отсутствие какой-либо хронологии. В отличие от аккуратного ящика с видеокассетами, где магазинные фильмы отделены от кассет с самодельными этикетками… Странно. Один-единственный фотоальбом и его даже не потрудились составить как следует?

Митчел паркуется. Я наблюдаю за ним из-за льняной шторы в гостиной. Жду, когда он войдет в дом. Считаю до десяти и спускаюсь. Нажимаю кнопку звонка. Он открывает не сразу — сначала смотрит в глазок. Наконец открывает дверь с приветливой, но вопросительной улыбкой. Я разражаюсь слезами. Он изумлен и встревожен. Я выгляжу нелепо, но продолжаю следовать своему плану. Он должен почувствовать, что меня нужно впустить в дом и выслушать. Митчел отходит в сторону, чтобы дать мне войти. Новое приятное ощущение пронизывает мое тело — то ли облегчение, то ли осознание своей порочности. Я смакую каждый пройденный метр в его доме, комнаты которого ожидаемо расположены так же, как у нас дома, так же, как у Дэвида и Лайзы. Я обращаю внимание на интерьер, схожий со стилем самой Холли: разноцветные предметы, привезенные со всех уголков света и напоминающие о южных странах, в которых преобладают солнце и яркие цвета. Я мгновенно согреваюсь. Но я не должна отвлекаться от своего горя, мне надо его использовать. Сажусь на указанный Митчелом диван и даже — для пущего драматизма — поджимаю ноги к груди.

— Что случилось?

Отвечаю не сразу. Изображаю замешательство.

— У меня нет сил, — наконец жалуюсь я ему. — Я много работаю и не успеваю готовиться к экзаменам на факультет журналистики, а ведь я для этого и приехала.

Тут я всхлипываю.

— Сколько часов в день вы работаете? — спрашивает он и ладонью накрывает мою руку.

Отлично, я его подсекла.

— Четыре часа на уборку, которую уже делала накануне, и плюс бесчисленные мелкие поручения. Ну… и еще кое-что.

— Еще кое-что?

— У нас происходят странные вещи.

Он молчит, ожидая объяснений.

— С малышом, с Саймоном. Я не понимаю, что с ним.

Я наблюдаю за его реакцией. Он по-прежнему выжидает.

— Мне кажется, он болен. У него странное пятно на коже, даже не знаю…

Я недоговариваю, хочу зацепить его посильнее.

Он замирает. Видно, что пытается скрыть беспокойство. Я уже начинаю видеть этих взрослых насквозь. Даю ему возможность подхватить нить

разговора.

— Пятно?

— Какая-то темная отметина за ушком…

Митчел раздумывает. Он больше не похож на веселого соседа по «Хидден-Гроув». Он сосредоточен.

Мой взгляд блуждает по комнате и останавливается на великолепной картине, висящей над диваном. Она завораживает интенсивностью красок и плавностью форм. На фоне ярко-красного пейзажа в небе плывет влюбленная пара. Вторая пара лежит на земле и словно бы погружается в нее. Вокруг влюбленных — зеленая лошадь, желтая птица и ярко-синяя растительность. Похоже на образы из чьих-то снов.

— Вы хотите, чтобы я поговорил с Джеймсом и Моникой и попросил их давать вам больше времени на подготовку?

Я неопределенно пожимаю плечами:

— Спасибо.

— А про Саймона я аккуратно все выясню, хорошо?

Я чувствую облегчение — Митчел на моей стороне. На него можно положиться. Указываю на картину:

— Кто ее написал?

— Марк Шагал. Он назвал ее «Песнь песней три», потому что у него их несколько. «Песнь песней» — это текст, священный для иудеев и христиан, чудесная песнь о любви, которую можно прочитать в Ветхом Завете. Это символ любви Бога к своему народу, но также любви между мужчиной и женщиной. Я нашел эту репродукцию на книжном развале на Портобелло-роуд — для меня это прежде всего красивый предмет интерьера.

У Митчела нет такой тяги к мистике, как у моих хозяев, и меня это радует.

Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей.

О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!

Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!

Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник!

Рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, с кипарисами и нардами![33]

Заинтригованная, я открываю Библию моих хозяев и ищу в Ветхом Завете «Песнь песней». Я проглотила пять страниц этого безумного, чувственного, эротического стихотворения, самого прекрасного в мире любовного письма. Оно меня

---

[33] Сноски: 33
Песнь песней Соломона, 4: 9–13.

потрясло. Я тихо повторяю эти слова, они жгут мне губы, у них вкус запретного плода.

Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста!

О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста!

Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник!

Я не имею права выходить из резиденции. Я это знаю. Здесь так: тебе не говорят, но ты должен знать. Это ужасно, потому что связывает тебя еще больше: ты не можешь восставать, сопротивляться — ведь запрет не произнесен, никакие правила не установлены. Надо мной возвышаются стены невидимой тюрьмы. Никто к ним не прикасается, и все держатся от них подальше. Мне хочется сбежать. Но у меня нет сил. Легче остаться, тянуть лямку и помалкивать, чем придумывать выход из положения. У меня есть цель, и я к ней иду. Я так устала. И с каждым днем устаю все больше. Хотя день на день не приходится. Бывает, чувствую себя в форме, а бывает — на ногах не держусь. Я даже устраиваю себе днем сиесту — совсем короткую, потому что мне совестно. Ведь я молодая, и мне столько всего надо переделать.

Когда дети в половине пятого вернулись домой, Моника не окликнула меня, а я не смогла встать. Как будто меня пригвоздили к кровати. Без четверти шесть мне наконец это удалось, и я спустилась на первый этаж. Дверь в комнату Льюиса была полуоткрыта, и я по привычке заглянула внутрь: он лежал в кровати, укрытый одеялом. Я разглядела взъерошенную птичью головку и шейку — такую тонкую! Меня она как-

то особенно расстроила. По ней было видно, до чего он ослаб. Льюис выбрался из постели лишь на следующее утро, но никто не сказал об этом ни слова.

С тех пор как Митчел поговорил с моими хозяевами, я работаю меньше. Ко мне заходила Моника. Не Джеймс, потому что я уже поняла, что, даже если сама и не занимаешься хозяйством, это все равно женская сфера. Она предложила мне убирать комнаты и туалеты через день. Я мысленно благословила нашего соседа и прокляла глупость моей хозяйки, которая оказалась не способна додуматься до этого сама. Драить одну и ту же комнату ежедневно нет никакого смысла. Это позор, это эксплуатация, бессмысленная трата чужого времени, дурацкий каприз больного сознания! Я поблагодарила ее. Она спросила, как идут мои занятия, я сказала: тяжело, но я буду больше стараться.

Середина дня, монотонный дождь, небо словно исчеркано торопливыми каракулями. Типичная английская погода. Я отвожу глаза от окна и смотрю на свои пять книг: программа конкурса по журналистике. Вижу свои руки, сложенные на столе, чувствую прочную поверхность под ногами. Все здесь, на месте. Кроме головы. Она мне не подчиняется. Я измучена усталостью. Я подыхаю от усталости! Твою мать, как такое возможно в восемнадцать лет?! Встаю и иду в душ, говоря себе, что прохладная вода поможет мне взбодриться.

Выглядываю из окошка в ванной комнате — это один из множества «глаз» дома для наблюдения за жизнью резиденции. Все спокойно, матери еще не отправились в город забирать своих детей. Внезапно я вижу, как кто-то выходит из дома Митчела через заднюю, садовую дверь. Это важное событие для такого изголодавшегося наблюдателя, как я. Вижу женщину в черной шляпе. Не могу разглядеть лицо, но знаю, кому принадлежит эта элегантная, самоуверенная походка: Монике. Едва выйдя, она оборачивается, тянется к кому-то и целует. *My God!* Целует кого-то взрослого, одного с ней роста. Холли нет дома, Митчел один, а моя хозяйка не из тех, кто станет целовать домработницу. Моника и Митчел? Мне кажется, я вижу то, что мне видеть не полагается; я не хочу выдумывать что-то неприличное, но глаза меня не обманывают — это именно поцелуй. *Fuck, fuck, fuck*. Моника отворачивается и поспешно идет к своему дому. Черт с ним, с душем, мне позарез нужно поймать ее взгляд, увидеть выражение ее лица. Я, конечно, еще слишком молодая, но знаю, как выглядит влюбленность.

Я скатываюсь с лестницы и оказываюсь в холле как раз в тот момент, когда она открывает дверь; мое появление для нее неожиданность. Ее щеки

порозовели. Она водружает свою фетровую шляпу на вешалку. Я прекрасно вижу, что ее улыбка адресована не мне, она улыбается жизни, своей радости и любви. Не уверена, что хочу это знать. Я чувствую себя в ловушке. Они оба мне нужны. Без английского не будет факультета журналистики, без факультета журналистики не будет работы, не будет карьеры, не будет запасного варианта, и мне придется возвращаться в эту проклятую дыру — Плуэрнек.

Самым что ни на есть непринужденным тоном я спрашиваю Монику, хорошо ли она провела день, и она отвечает:

— Да, я пила чай с Евой. Мы… говорили о Рождестве.

Но от меня не ускользнуло ее замешательство… *Oh fuck!* Во что я вляпалась!

У меня раздвоение личности.

Теперь во мне живут два человека.

Один делает уборку, присматривает за детьми, другой наблюдает и выслеживает. Я больше не чувствую себя в безопасности. С каждым днем туман становится все плотнее. Я продираюсь сквозь мутную, тревожную реальность. Боюсь сделать открытия, которые перевернут мою повседневную жизнь. У меня ощущение, что все ведут двойную игру.

Моника раздробила мое время на кусочки, она просит меня о множестве мелких услуг. Теперь они разнообразны: нужно то приготовить ужин, то в последний момент погладить платья или рубашки, то убрать перед сном детские комнаты. Она не стесняется прерывать мои занятия, чтобы я помогла ей отсортировать одежду детей, которая стала им мала: «Это быстро, вы не против?» Сложить ненужные игрушки в гараж: «Вы не против?» Взять несколько коробок, перенести их в другое место: «Вот сюда, нет, лучше сюда, большое спасибо за помощь». Я точно не знаю, когда и как это началось, но точно знаю, что началось это незаметно. Дополнительная нагрузка как будто выбила стопор у меня в мозгу. Она, как и отсутствие ответа от Виржини и новостей от ро-

дителей, сводит меня с ума. Я пересекла Ла-Манш, чтобы учить английский у богатых придурков, именно из-за родительской бедности, а предки мне даже ни разу не написали! Я не жду от них ни поддержки, ни любви, но можно было бы все же поинтересоваться моей жизнью! Двойное наказание. Мне грустно и одиноко.

Кабинет Джеймса. Я должна в него войти, там наверняка есть ответы, которые рассеют мою тревогу. Раньше я бы на это не осмелилась, но теперь у меня, похоже, полетели все предохранители. В моей семье, может, и нет интеллектуалов, зато мы всё умеем делать своими руками. Я помню тот день, когда папа приехал забирать меня из лицея, потому что бастовали водители автобусов. Мы стояли перед дверью нашего дома как последние идиоты: он потерял ключи. Папа, конечно, ругался, но не позволил себе расстраиваться. Обернувшись ко мне, он спросил: «У тебя есть заколка для волос?» Я порылась в карманах: у меня их нашлось даже две. Не люблю, когда на уроках волосы лезут в глаза, поэтому всегда ношу с собой несколько плоских стальных заколок: их почти не видно, но они жесткие и отлично удерживают пряди. Папа вставил заколку в скважину и осторожно крутил ее до тех пор, пока щеколда не

поддалась. И мы смогли войти. Мне было пятнадцать лет, и я так гордилась своим отцом! Один из редких моментов, когда мы с ним чувствовали родственную связь.

Я пользуюсь отсутствием Моники, которая ушла на гимнастику, чтобы открыть кабинет Джеймса. Сердце колотится как бешеное. Я повторяю себе, что мне ни в коем случае нельзя сломать заколку внутри замка, иначе я попадусь. Мне кажется, что отец стоит рядом со мной — молчаливый, угрюмый. Папа, я скучаю по тебе. Никогда не думала, что скажу это. Я уже минут десять пытаюсь отодвинуть щеколду, а ведь через полчаса может вернуться Моника. Я стараюсь подавить мандраж, чтобы не сломать свою отмычку; картина перед глазами немного размыта, и я прищуриваюсь, фокусируя взгляд. В последнее время у меня появилось ощущение, что я становлюсь близорукой, все вокруг как будто подернуто дымкой. Черт, только этого не хватало! В голове мелькает дебильная пословица: «Беда никогда не приходит одна». Щелк! Задвижка отскочила, мне остается только аккуратно открыть дверь. Короткий всплеск радости… и всего несколько минут на обыск! На столе — стопка папок; я вижу цифры и понимаю, что это скру-

пулезно зарегистрированные счета-фактуры. Ничего интересного. Мимоходом замечаю, что фотографии с четырьмя членами семьи на прежнем месте больше нет. Жаль, я хотела проверить, какого цвета на ней волосы Саймона. Кажется, на ней он был блондином? Теперь, когда у меня в голове такой туман, я уже не уверена. Зачем-то приподнимаю защищающее стол стекло. Стоящий на нем старинный будильник — настоящий зануда, его размеренное тиканье подгоняет меня. Большая стрелка, маленькая и секундная — этим трем старомодным иголкам плевать на все: они отсчитывают время, не выпуская его из своих челюстей. В ящиках лежат папки с логотипом адвокатской конторы. Какие-то из них — дела Джеймса. На некоторых папках стоит красный штамп «конфиденциально», и это объясняет запертую дверь. В случае ограбления кража документов будет иметь серьезные последствия. Представляю, как это скажется на карьере Джеймса. Он выглядит серьезным адвокатом и никогда не говорит ни о своих клиентах, ни о судебных процессах. Еще здесь стоит большой книжный шкаф. Я наскоро просматриваю корешки: это книги по английскому праву и Библия. Похоже, Библия есть в каждой комнате этого дома. Не

знаю, что именно я ищу. Возможно, что-то такое, от чего мне станет спокойнее. Я провожу руками по верху шкафа, собираюсь встать на колени, чтобы заглянуть под днище. Говорю себе: до чего же это нелепо! И вдруг начинаю задыхаться. От ощущения, что нарушаю запрет, от неумолимого тиканья, от страха, что меня застукают на месте преступления. Выхожу из кабинета, но тут же инстинктивно возвращаюсь обратно. Опускаюсь на четвереньки, провожу рукой под книжным шкафом и нащупываю какой-то предмет. Он холодный и твердый. Коробка? Мне никак не удается ее ухватить. Тогда я ложусь на пол. Вижу красно-серую металлическую коробку из-под печенья «Carr's». Тяну ее к себе. Смахиваю пыль, — должно быть, ее давно не трогали. Открываю крышку. Внутри — куча документов. Медицинские карты, визитки врачей, справки. Сердце у меня колотится где-то в горле, я изо всех сил стараюсь дышать ровно. Натыкаюсь на собственную фотографию, которую выбрала, чтобы отослать семье хозяев. На ней у меня счастливый, беспечный вид. Я уже и не помню, когда так выглядела в последний раз… Быстро просматриваю страницы, узнаю свое крошечное резюме, рекомендацию от лицея, медицинские анализы.

И нахожу фотографию другой, незнакомой мне девушки. На вид она моя ровесница. Затем идут фото и досье Виржини, которое я проглядываю лишь мельком. Как странно! Возвращаюсь к досье неизвестной. И только и успеваю, что прочесть ее имя: Ирина. Может, ее не взяли на эту работу, но держат документы под рукой на всякий случай? Я слышу, как в замке входной двери поворачивается ключ. Заглядываю на самое дно коробки и обнаруживаю два удостоверения личности. Одно из них мое, у него загнут угол. Оно еще так мало путешествовало, а уже испорчено: ну прямо как моя жизнь! На второе я взглянуть не успеваю. Закрываю коробку и задвигаю ее ногой на место. Это, что ли, и есть их сейф? Тот самый, где, по уверениям Моники, мой драгоценный документ надежно укрыт от воров? Я не могу опомниться от изумления.

Но какая же я идиотка! От страха по спине пробегает озноб. Меня бросает то в жар, то в холод. Я ведь не сообразила, что смогу лишь прикрыть дверь кабинета, а не запереть его! Ключа-то у меня нет! И Джеймс это сразу заметит.

— Эммилу! Эммилу! — зовет Моника.

У меня нет выбора, и я тихо притворяю дверь. Еще рано — всего одиннадцать часов. Но я уже

знаю, что этот день будет клубком страха, а время с садистским удовольствием размотает его на долгие минуты. У меня снова затуманивается зрение. Я иду вперед, держась за стены. Вхожу в кухню и бросаюсь к холодильнику. Срочно найти какой-нибудь предлог! Моника, *sorry*, но молока для детей больше нет!

Сегодня днем Джеймс повез детей к офтальмологу на ежегодный осмотр. Моника попросила меня приготовить им на вечер маленькие сэндвичи. Они вернутся усталые, голодные и сразу смогут поесть. А пока что меня ждет наблюдательный пункт у окна в моей ванной комнате, из которого я увижу, отправится ли Моника к своему любовнику. Сейчас ровно пять, и она выходит через заднюю дверь. Редкостная пунктуальность. У меня опять мутится в глазах, да еще и мигрень добавилась. Дверь в доме напротив открывается, но на этот раз Моника не задерживается на крыльце, а почти вбегает внутрь. Значит, это уже привычка. Кстати, обманывая мужа, она не очень-то изобретательна. «17 ч. М.» помечено у нее в ежедневнике. Она могла бы написать «прием у физиотерапевта» или что-то в этом роде; даже я, неопытная в таких делах, побоялась бы указывать инициалы любовника. Я иду к себе и ложусь на кровать: у меня не осталось сил на занятия. Что ж, значит, сегодня пропущу. К возвращению детей мне надо быть в форме. Я слышу, как Моника входит в дом и сразу зовет меня:

— Эммилу! Эммилу!

Ее голос и мое имя скользят мимо моего сознания.

Я просыпаюсь с ощущением, что начинается новый день, и прихожу в ужас. Новый день в уже начавшемся дне. Адская русская матрешка. Я даже не могу вспомнить, что делала сегодня утром. Меня гложет тревога. Я продолжаю лежать, уставившись в пустоту, вытянув руки по швам; ищу ниточку, за которую можно ухватиться, чтобы выбраться из этой трясины, запуталась в собственных мыслях.

Но вот память возвращается, и становится понятно, что́ меня тревожит: мое вторжение скоро обнаружится. Как объяснить, почему дверь в кабинет не заперта на ключ? Мой мозг только сейчас осознает глупости, которые я натворила. А коробка, с которой я рукавом вытерла пыль? И отпечатки пальцев на ней? Наверняка я оставила отпечатки повсюду, как это объяснить?

Я спускаюсь, чтобы приготовить закуски, которые Моника потом отнесет детям и в ответ, как обычно, получит от них благодарности и поцелуи. Она наливает мне чаю и утыкается в свой ежедневник, запустив палец в длинные каштановые пряди. Явно озабочена тем, как совместить свои занятия спортом, визиты к парикмахеру, косметологу, родительское собрание и шалости с Митчелом. Она мне не нравится. Не понимаю ее.

Намазывая арахисовым маслом ломтики белого хлеба, я мысленно разглядываю фото Ирины. Симпатичная брюнетка с тонкими чертами лица и светлыми глазами… Впрочем, я не успела запомнить их цвет. Похожа на Виржини, только волосы темные. Ее взгляд меня почему-то тревожит. Кто она? Девушка, которой отказали в этой работе? Та, которая сменила Виржини? Никто мне о ней не рассказывал. А Льюис — почему он никогда о ней не вспоминает? Маленькие, они же болтливы: Ирина делала так, а Виржини эдак — по-другому, чем ты. Словно Льюис начисто стер прошлое. Словно обслуга проходила через его жизнь, не оставляя никаких следов. Я раскладываю бутерброды на тарелке. Меня что-то беспокоит. Заноза, которая уже несколько недель блуждает по моему телу, вонзается сзади в кожу на шее. Ощущение электрического разряда. Я чувствую холод, страшный холод в спине. В этот момент в кухню входит Моника и протягивает руку к тарелке с сэндвичами. Я вижу только ее силуэт, вместо лица — клубящееся пятно: это снова вернулась мигрень. Голос хозяйки доносится до меня издалека, как будто я нахожусь в этой же комнате, но в тридцати метрах от нее; рука, протянутая к ней, кажется неимоверно длинной.

Она отвечает мне каким-то искаженным «спасибо», у нее непропорционально большой рот, он чудовищный, бесформенный.

Второе удостоверение личности. В коробке было мое и еще чье-то.

Виржини, конечно, уехала со своим домой.

Тогда что это за второй документ?

Чей он?

Почему он здесь?

Никто не уезжает, оставив свое удостоверение личности.

Кому оно принадлежит?

Ирина.

Тебе, Ирина?

Но тогда, если это твое удостоверение…

Где ты сама?

Я просыпаюсь. Ощущение, как будто выхожу из длительной комы. Моника стоит рядом. Она хочет знать, лучше ли мне, вид у нее очень встревоженный. Она представляет мне Джона, нашего соседа: «Он врач. Он здесь, чтобы вас осмотреть. Вы нас так перепугали. Вы упали в обморок прямо у меня на глазах». Она говорит, говорит. Для нее это — событие дня, я слышу в ее голосе смесь боязни и возбуждения от мини-драмы, свидетелем которой она стала. Теперь она сможет рассказать

соседям и подружкам, что спасла меня. Я ее слышу, но больше не слушаю. Мне тошно. И кажется, что моя кровать — взбесившийся плот в бурном море. «Джон измеряет вам давление», — объясняет Моника. «У нее очень низкое давление, это нехорошо». Моника соглашается, что это и впрямь нехорошо. Он добавляет, что мне нужно отдыхать, если я хочу поправиться. Моника кивает, она выглядит очень озабоченной. Думает ли она о том, что придется сократить мне часы уборки? О стерильно чистых комнатах, обо всех пространствах, где жизнь и пыль не имеют права на существование? Или размышляет о своем свободном времени, которого станет сильно меньше из-за моего пошатнувшегося здоровья и необходимости давать мне отдых?

Врач и моя хозяйка, стоя совсем рядом, говорят обо мне так, словно я не существую. Джон не спрашивает, что со мной, как я себя чувствую. А я хотела бы рассказать о мигрени, о тумане в глазах, о смертельной усталости. Нет, он ведет себя так, будто все знает. Бесстрастно прощупывает мои ноги, живот, на котором задерживается подольше, шею… Я понятия не имею, что он ищет, и у меня нет сил спросить. Если бы я служила у Митчела и Холли, все было бы не так. Они бы

заботились обо мне, разговаривали, слушали. Джон предлагает мне встать, чтобы посмотреть, как я хожу, нет ли головокружения. Он протягивает мне руку. Я говорю, что голодна и хотела бы пойти вниз. Он отвечает: «Хорошо, но только осторожно, держитесь за перила». Звонят в дверь. Это Ева, его жена, с их дочерью. Она пришла за своим мужем, чтобы он их куда-то отвез, я не поняла, куда именно. Я впервые вижу их дочь и пожираю ее глазами, ведь в «Хидден-Гроув» так редко можно кого-то встретить. Она напоминает мне кого-то… кого-то, кто… Но тут Джон мягко подталкивает меня к кухне.

Моргана, я тебе завидую. Говорю это тебе сейчас, когда я в своей комнате, где лежу на кровати уже целые сутки, а может, и того дольше. Я тебе завидую. Ты никогда не узнаешь мир взрослых. Мы мечтали о нем, сидя рядышком на кровати, или в автобусе, или у моря. Это был наш Грааль. Но их мир оказался сложным и грязным. Прогнившим. С тех пор как ты умерла, я мысленно видела, как взрослею, иду по жизни, учусь на журфаке, работаю в редакции, хожу на вечеринки… У меня есть мужчина, двое детей, машина… Отпуск мы проводим в кемпинге, на острове Гроа… Я мысленно прошла через все это, а потом обернулась и увидела тебя — застрявшую в своем возрасте. Тебе навсегда останется восемнадцать. Ты моя родственная душа, застывшая в янтаре времени. Сегодня из-за всего этого дерьма твоя смерть не вызывает прежней боли, ведь я знаю, что тебе повезло. Твоя доброта не смогла бы выдержать эту тьму. А сейчас я закрою свой дневник и снова спрячу его под матрасом, ровно посередине кровати. Я никому здесь не доверяю — если оставлю тебя на виду, кто угодно возьмет и прочтет. Я должна тебя уберечь.

В центре моего внимания — Митчел: он любовник моей хозяйки и тот, кого я предпочла бы иметь своим хозяином; отец ребенка-невидимки, единственный нормальный и симпатичный из всех соседей. Хочу узнать о нем побольше. Сегодня утром я наблюдаю из окна за его отъездом и собираюсь зайти к нему домой. Хочу посмотреть обстановку, увидеть комнату его сына, его мебель, посуду. Действительно ли он член клуба домов-близнецов? Воспользуюсь его отсутствием, чтобы работающая у него девушка открыла мне дверь, и познакомлюсь с ней. Вид у нее застенчивый, но я уверена, что она милая и похожа на своих хозяев. Может, она сообщит что-нибудь о семье Моники и Джеймса и о бесследно пропавшей Ирине. У меня ощущение, что я близка к разгадке.

Звоню в дверь Холли и Митчела. Кристина не отзывается, я звоню снова. Тишина. Я знаю: она дома. Может, боится открывать, когда остается одна? Я громко говорю, чтобы ее успокоить:

— Кристина, это очень важно, мне нужен твой совет.

Дверь приоткрывается. Она смотрит куда-то в сторону. Я не хочу ее торопить, но мне позарез нужно, чтобы она меня впустила. Объясняю ей, что хочу знать, как мне вести себя с хозяевами, я

не всегда понимаю их требования.

— Ты можешь мне помочь?

Я подстраиваюсь под нее: не показываю своей ярости и отчаяния, а имитирую ее поведение — спокойствие и застенчивость. Вижу, что она колеблется.

— Можно, я войду на минутку? Я так устала, *so tired*.

Кристина открывает дверь пошире, и я осторожно, стараясь не спугнуть, иду следом за ней. Мы входим в кухню; она не предлагает мне сесть и встает у стола, сложив руки на своей широкой черной кофте. Она хорошенькая: каштановые волосы до плеч, не худышка, но «все при ней», как выразилась бы моя мать, — словом, строгая версия Холли. Ей идет черное. Лицо напоминает миниатюру: носик, глаза, рот — все маленькое, точеное и аккуратное. Странно и очаровательно.

— Как хорошо, что я могу поговорить с тобой. У меня нет никаких вестей от родных, и мне одиноко.

Она слушает меня и молчит.

Мне становится неловко, и тогда я шепчу, указывая пальцем наверх:

— Малыш спит, да? Нельзя шуметь?

Она не отвечает, как будто это должно быть оче-

видно. Я помню, что у меня есть лишь несколько минут, и хочу разузнать о ней как можно больше.

— Откуда ты приехала?

— Из Словакии.

— Как ты сюда попала?

Она пожимает плечами. Я продолжаю:

— У тебя тоже потребовали кучу бумаг: рекомендацию, фотографию, анализ крови?

Она мнется.

— Ты уже выходила из резиденции?

Она отвечает не сразу:

— Холли запретила мне выходить одной. Слишком опасно.

Я ошеломлена. Она смирилась! Покорно приняла свою судьбу.

Задаю ей еще один вопрос:

— Я приехала, чтобы освоить английский, мне это нужно для учебы. А ты?

— Мои хозяева пообещали помочь мне получить английское подданство!

Ее глаза на несколько секунд загораются, затем снова потухают.

— Когда ты приехала?

Она на пальцах показывает мне, что шесть месяцев назад. Я чувствую, что ей не нравится

этот разговор. Она хочет его закончить и направляется к двери. Ей явно не терпится меня выпроводить, но мне словно что-то стукнуло в голову, и я говорю:

— Покажи свою комнату! Мне так хочется на нее посмотреть!

По ее взгляду я понимаю, что она принимает меня за чокнутую. Что ж, значит, теперь у меня в резиденции будет репутация дурочки. Она говорит:

— Хорошо, а потом надо работать! *Work!*

Мы поднимаемся по лестнице. Судя по всему, второй этаж, где находится детская, такой же, как у моих хозяев, только здесь двери закрыты, а ребенок, наверное, спит. Третий этаж: направо родительские апартаменты, напротив — комната прислуги, налево — ванная. Черт, все в точности как у нас! Кристина открывает дверь своей комнатки. Она такая же маленькая, как моя, и обои на стенах с такими же джунглями, просто невероятно! Разве что она выглядит более унылой. В ней нет ни одной книги, а на этажерке стоит маленькое распятие, рядом с которым лежит низка деревянных бусин — наверное, четки. Наше суперсердечное общение прерывает телефонный звонок. Кристина, замерев, смотрит на меня:

— Я должна ответить.

— Конечно, иди.

Она удивлена:

— А ты?

Я киваю:

— Не волнуйся. Я закрою за собой дверь и спущусь.

Она сбегает вниз. Я следую за ней в более умеренном темпе, у меня созрела идея. Поравнявшись с детской, я тихонько приоткрываю дверь. А то еще обвинят меня в том, что я разбудила малыша.

Но будить мне некого — в комнате ни души. Кроватка пуста. Здесь нет жизни, нет детства. Даже когда комната Саймона убрана, там все равно слышны его визги, смех, его тоненький, как в мультиках, голосок… там пахнет ребенком, его маленькими ножками, игрушками, его шейкой, его радостью, слезами, его предстоящим и прошлым купанием. А здесь ничего этого нет. Игрушки лежат в фабричных пластиковых упаковках, пледы аккуратно сложены, подушки выстроены в ряд. Я прикрываю дверь и спускаюсь по лестнице. Я отлично понимаю, что именно я увидела, и мне надо опомниться, отдышаться, не выдать себя. Из-за паники у меня горит лицо.

И из-за гнева тоже. Мне хочется орать: «Зачем нужна няня ребенку, если никакого ребенка нет?! Что это за бред?! Что ты здесь делаешь?! У кого ты в рабстве?! Что они тебе наговорили, чтобы ты приехала, осталась и не сбежала?!» Я подхожу к Кристине, которая стоит в прихожей у столика с большим лакированным телефоном бежевого цвета. Она только что положила трубку. Я немедленно перехватываю инициативу:

— Ну что, все в порядке?

Не хочу, чтобы она задавала мне вопросы.

— Это Холли, мне надо приготовить курицу, — сообщает девушка.

Я говорю:

— Спасибо, Кристина. Если тебе понадобится помощь, я здесь. *Anything!*[34]

На ее лице недоумение. Она открывает передо мной дверь и говорит:

— Только не рассказывай никому, что ты сюда приходила, они не разрешают.

Дверь закрывается. У меня тревожное чувство, что надо спешить, мне не терпится побыстрее преодолеть расстояние, которое разделяет наши дома. Я хочу в убежище, и оно, как ни странно,

---

[34] Сноски: 34
Все, что угодно! *(англ.)*

находится в доме моих хозяев. Что же это за ад такой? В этой семье есть няня, но нет ребенка. Но тогда за кем присматривает Кристина? Я спрашиваю себя, чем она занимается днем и кто еще в «Хидден-Гроув» знает, что у Митчела и Холли нет детей? Чем дольше я копаю, тем глубже проваливаюсь. Чем старательнее ищу, тем больше боюсь.

Я купаю Саймона, мы с ним одни. Он бьет по воде руками, брызгается и громко смеется. Вода стекает по его пухлому тельцу, мокрые каштановые волосы прилипли к голове, он счастлив. Я сижу рядом на низкой пластмассовой скамеечке и наблюдаю за ним. Из четверых членов семьи он мне ближе всех; не могу сказать почему, но в его присутствии мне хорошо. И все-таки что-то в нем меня интригует. Может, чрезмерная материнская привязанность Моники. Может, то, что Саймон так естественно радуется. На фоне их клана он — само простодушие. Я стараюсь жить настоящим, наслаждаться простым счастьем купания малыша, чтобы не думать об остальном. Но мигрень и туман в глазах напоминают мне, что со мной творится что-то неладное. Саймон хватает голубой пластиковый кораблик и пытается пустить его по воде, потом берет игрушечного пирата и изо всех сил швыряет его на кораблик, который сразу опрокидывается. Саймон заливается смехом. Вокруг нас облако пара, он затуманивает зеркало. И тут меня осеняет. Я смотрю на Саймона и вижу Митчела. Добродушие, улыбка, радостно приподнятые уголки губ… Саймон похож на Митчела. Конечно, совсем посторонние люди тоже иногда бывают похожи, и это бывает забавно. Но здесь

сходство пугает.

Внезапно с первого этажа до меня доносятся крики. Я хочу скорее спуститься вниз и увидеть, что там происходит, но не могу оставить Саймона одного в ванне — он слишком маленький и может утонуть. Поэтому я одной рукой приоткрываю дверь. И слышу, как Моника говорит: «Давай отвезем его сами, так будет быстрее, *hurry up!*»[35] А Джеймс кричит: «No! Oh no!» Я не хочу пугать Саймона и потому продолжаю играть с ним и улыбаться. Затем хлопает входная дверь. Я плотно прикрываю дверь ванной, чтобы Саймон не простудился, и занимаюсь только им. Надеваю на него халатик, несу в детскую. Здесь же рядом — комната Льюиса, в ней царит тишина. Мне становится страшно. С малышом на одной руке я спускаюсь по лестнице, крепко держась второй за перила, боясь из-за проклятой мигрени упасть вместе с Саймоном. В кухне никого нет. Должно быть, что-то случилось с Льюисом.

Я приготовила еду для Саймона; теперь он спокойно ест морковное пюре, и мы оба молчим; после происшедшего я ожидаю хоть каких-нибудь новостей.

---

[35] Сноски: 35
Скорее! *(англ.)*

У меня появилась идея, абсолютно безумная. Мне никто ничего не объяснил. Так разве я не имею права волноваться? Надеваю куртку, закутываю Саймона и иду с ним к Митчелу. Несколько раз нажимаю на кнопку звонка, давая понять, что случилось непредвиденное. Что это срочно. Прием срабатывает, дверь открывает Холли. Она смотрит на нас с удивлением. Я не даю ей времени задать вопрос и говорю: «Моника и Джеймс спешно уехали, они мне ничего не сказали, думаю, это из-за Льюиса». Я впервые вижу Холли растерянной. Она оборачивается и зовет мужа. Он не отвечает. Она приглашает нас с Саймоном войти. Мы проходим в гостиную, к нам спускается Митчел. Я собираюсь ему все объяснить, но мне срочно нужно в туалет, и я вручаю ему Саймона. Он теряется. Мне даже не нужно спрашивать, куда идти, я отлично знаю, что и где расположено в этих домах. Стены коридора украшены фотографиями супругов. Это хронология их жизни в обратном порядке, если идти из гостиной в туалет. Митчел с Холли нынешние — элегантные и веселые, на какой-то шикарной вечеринке; Митчел и Холли молодые, тридцатилетние, на красно-белой яхте, но Митчел уже наполовину седой; чем ближе я к туалету, тем моложе они

становятся… И вот наконец Митчел и Холли — хиппи, с рюкзаками на спине и развевающимися гривами, им лет по двадцать, и они блондины. Итак, Митчел был натуральным блондином. Я на это надеялась и одновременно этого боялась. Что ж, по крайней мере, цвет волос несколько упорядочивает царящий вокруг хаос.

Когда я возвращаюсь в гостиную, наш милый сосед все еще держит Саймона на руках, лицом к себе — два таких похожих профиля. Холли выходит из кухни, смотрит на своего мужа и на малыша. Замечаю, как изумление искажает ее лицо. Видно, что она старается ничего не показать, но ей не удается. Наступает ли у нее сейчас прозрение? Осознает ли она, что Митчел — отец Саймона? Что Моника — тайная жена Митчела? Митчел улыбается, нажимает указательным пальцем на нос малыша, тот взрывается смехом. Внезапно гостиная начинает кружиться, фигуры словно бы подсвечиваются лучом прожектора, и участники этой драматической сцены на секунду замирают. Оскорбленная Холли стоит, опустив руки: она смотрит невидящим взглядом куда-то вдаль — наверное, на свое разбитое счастье. А Митчел и Саймон продолжают беззаботно играть.

Через несколько секунд Холли оборачивается ко мне; к ней вернулось самообладание, и она, положив руку мне на плечо, говорит:

— Не беспокойтесь об этом.

Я не могу опомниться от удивления. Неужели она знает, что я знаю?

Холли продолжает:

— Они позвонят, когда будут новости. Если вам что-то понадобится, мы рядом.

Возвращаюсь домой, где по-прежнему никого нет. Мои хозяева уехали всего полчаса назад. Я стараюсь вести себя как обычно: не хочу тревожить малыша, я все-таки профессионал. Начинаю вечерний ритуал: чищу Саймону три его зуба, читаю сказку, обнимаю и пою колыбельную «Good Night, Sleep Tight»[36]; мы с ним желаем спокойной ночи семье и друзьям, игрушкам и плюшевым зверюшкам. Я лгу, напевая, что мы увидимся завтра. Я лгу под вечерними звездами.

Наклоняюсь над ним, укрываю, словно бы защищая, небесно-голубым кашемировым одеяльцем. Улыбаюсь ему. Саймон притих, никогда его таким не видела. Я чувствую себя мамой, которая прекрасно знает, что не все обстоит благополучно, что где-то рядом разыгрывается трагедия, но которая ни за что не даст своего малыша в обиду. Включаю ночник в виде кролика. Вся атмосфера детской кажется чересчур искусственной, чересчур сладенькой по сравнению с тем, что происходит вокруг. Это счастье очень хрупко. Открытая дверь и свет в коридоре умиротворяют Саймона, и он засыпает. Я спускаюсь в кухню и навожу порядок после его ужина. Доедаю

---

[36] Сноски: 36
«Спокойной ночи, сладких снов» *(англ.)*.

остатки и смотрю на часы. 20:23. По-прежнему никаких известий. Ожидание тянется невыносимо долго.

Поднимаюсь к себе, ложусь на кровать с книжкой, листаю страницы, не улавливая смысла. Слишком много всего надо обдумать. Я заперта в этом красивом доме, я в безопасности. И однако во мне зреет тяжелое предчувствие. Тишина, темнота — все это угнетает меня. Во рту горечь, я встаю попить воды; не знала, что страх способен отравить вкусовые рецепторы. Снова ложусь и отлистываю несколько страниц назад. Пытаюсь сосредоточиться на последнем романе Джея Макинерни «Модельное поведение»[37]. Я не хочу думать о том, что прочитала. Не могу вникнуть в текст, скольжу по его поверхности; слова, которые обычно меня захватывают, сейчас похожи на армию непокорных символов, яростно отстаивающих свой мир. Напрасные усилия.

Я встаю. Спускаюсь этажом ниже, чтобы послушать дыхание Саймона. Оно размеренное,

---

[37] Сноски: 37

Нельзя не отметить, что роман Джея Макинерни «Модельное поведение» («Model Behavior») вышел в оригинале в 1998 году, а по-французски (под названием «Glamour attitude») — в 1999-м, то есть спустя три года после событий романа и уже после гибели принцессы Дианы; героиня, впрочем, могла читать одну из трех вышедших к тому времени книг Макинерни, в том числе, разумеется, его громкий дебют «Bright Lights, Big City» (1984).

спокойное. Иду на первый этаж и останавливаюсь у входной двери. Наблюдаю через маленькое окошко: все перемещения по резиденции здесь видны как на ладони. Никто не приходит и не уходит. Я брожу по комнатам, включаю телевизор. Мне никак не удается вслушаться в поток английской рекламы, многословной и утомительной. Захожу на кухню за йогуртом. Обычное дело: холодильник наполовину пуст. Это удивительная черта богатых людей: они делают минимум покупок, так что я не всегда решаюсь что-нибудь взять и потому ем очень мало. Оттого, наверно, и похудела. Меня гложет уныние: делать совершенно нечего. Продолжаю бродить по дому. Прохожу мимо кабинета Джеймса, и вдруг мне чудится, будто чья-то рука, высунувшись оттуда, хватает меня за шею и прижимает лицом к темному дереву двери. Это явный намек. Я роюсь в кармане и достаю заколку, которая всегда при мне, — ключ к этой запретной комнате. Не знаю, когда вернутся хозяева, но интуиция мне подсказывает, что не скоро. Нужно действовать, нужно побороть страх. В кабинете все перевернуто вверх дном. Можно подумать, что кто-то забрался сюда в поисках денег или ценных документов. Стол завален разноцветными папками. Я подхожу

ближе. Чувствую удовольствие и страх. Два чувства сливаются воедино. Мне стыдно за себя. Беру первый попавшийся листок с записями. На нем указаны суммы в фунтах стерлингов со множеством нулей. Не знаю, о чем здесь идет речь, но, судя по всему, о чем-то очень дорогостоящем. Я продолжаю свои розыски. Открываю красную папку, из которой выпадает несколько сколотых вместе бланков. Это медицинская карта: я узнаю ее по шапке, где указаны фамилия врача и название больницы. Результаты анализов с научными терминами, в которых я не разбираюсь: *red blood cells, haemoglobin level, mean corpuscular volume, mean corpuscular haemoglobin concentration, iron tests*[38].

Я ничего не понимаю. Ищу на листе имя пациента.

Льюис Уайт.

Дата: 25 февраля 1988 года.

Во втором документе результаты другого обследования. *Genetic analysis to identify specific mutations in globin genes (HBB gene for beta thalassemia). Genetic confirmation.*

---

[38] Сноски: 38

Эритроциты; уровень гемоглобина; средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах; содержание железа: сывороточный ферритин, насыщение трансферрина для исследования талассемии *(англ.)*.

Результат положительный. Я понимаю, что это анализ крови. Обращаю внимание на слова: «генетический», «гены», «мутация»… Что за болезнь у Льюиса? К досье прикреплен счет на двенадцать тысяч пятьсот сорок три фунта — значительная сумма, это же сто тысяч франков! Еще я нахожу рецепт с перечнем трех препаратов, которые нужно принимать ежедневно: «Деферазирокс», «Фолиевая кислота», «Гидроксимочевина». Я никогда не видела ничего подобного ни на кухне, ни в комнате Льюиса.

Может, он никогда и не лечился?

Я кладу листки на место. Опускаюсь на корточки, чтобы достать из-под книжного шкафа жестяную коробку. Ищу удостоверение личности Ирины. В правом верхнем углу документа написано: «Romania». Я беру ее медицинскую карту, анализы Льюиса и поднимаюсь к себе в комнату. Прячу все это под матрас и ложусь, свернувшись калачиком и накрывшись одеялом. Я жду. Слышно, как дождь барабанит по деревьям в саду, по качелям, по всему, до чего может добраться. Небо, равнодушное к нашим страданиям, оплакивает собственные печали.

Просыпаюсь как от толчка, на часах без пятнадцати шесть. Мигрень исчезла, ощущение разбитости тоже. Теперь это такая редкость, что я сразу замечаю перемену. События прошедшей ночи всплывают в памяти и отзываются спазмами в желудке. Льюис, больница, болезнь. Я приподнимаю матрас и достаю медицинские документы, которые украла из кабинета Джеймса. С помощью словаря получаю приблизительный перевод: «Генетический анализ на выявление специфических мутаций в генах (ген HBB для бета-талассемии). Результат положительный». Льюис — носитель генетического заболевания? Заболевания, переданного ему родителями? Он страдает бета-талассемией? Я никогда о такой и не слышала.

Одеваюсь, выхожу из комнаты и смотрю, открыта ли дверь спальни моих хозяев, как это обычно бывает перед завтраком. Понятия не имею, когда они вернулись. Дверь закрыта. Я спускаюсь на один этаж и заглядываю к Саймону. Он крепко спит — с игрушкой на животе и вытянув ручки вдоль тела. Я решаю не будить его. Замечаю, что кресло-коляска стоит внизу у лестницы, значит им не пользовались. Дверь в комнату Льюиса тоже закрыта. Я открываю ее — постель нетронута.

У меня начинает кружиться голова. Я хватаюсь за перила и спускаюсь в кухню. Джеймс здесь, в своем вчерашнем костюме, сидит, склонившись над чашкой кофе; он не слышал, как я вошла. Не могу заставить себя говорить, так и стою за его спиной, чувствуя отвращение к себе. Что я вообще здесь делаю? Он оборачивается, и я вижу его осунувшееся лицо. Он явно не спал и много плакал. Не знаю, должна ли я спросить, что случилось и где Льюис. На глаза у него снова наворачиваются слезы, спина сгибается под тяжестью горя. Мне знакома эта скорбь — сокрушительная, непоправимая.

Джеймс говорит:

– *Lewis is dead.*

Я тихо повторяю за ним эти слова. Льюис умер. Я мотаю головой. Не уверена, что расслышала правильно. Не мог бы он повторить, сказать другими словами? Черт, как можно сообщать об этом вот так, за завтраком, на кухне, там, где каждое утро семья собирается после ночного сна? Там, где дети столько раз протирали заспанные глаза, словно говоря: мы здесь, вот они мы! Утром, когда жизнь только начинается! Я смотрю на Джеймса и злюсь на него за все это страдание, за все это горе. И однако я знаю — нет другого способа вы-

разить это: Льюис умер.

— Джеймс, что случилось? Где Моника?

— Моника в спальне.

Льюис умер.

Фраза — безысходнее некуда. Саймон… У меня возникает безумная мысль не будить его, чтобы он никогда об этом не узнал.

Я не видела Монику уже трое суток и чувствую себя отлично, как в день приезда. Может, причина в ее отсутствии, а значит, и в отсутствии ее требований, ее перфекционизма, ее вечного желания какой-то неземной чистоты? Меня больше не мучают мигрени, от которых я совершенно обессилела за последние недели, и глаза мои больше не затуманиваются. Зато меня все время тошнит. Вчера вечером я стала свидетелем странной сцены: проходя мимо комнаты Саймона, я увидела там Джеймса — его большое тело согнулось над кроваткой. По движению левой руки я догадалась, что он гладит волосы своего маленького сына, — это было необыкновенно красиво и грустно. Я остановилась посмотреть на них и услышала, как Джеймс прошептал Саймону:

— Льюис, *my dear Lewis*, я так тебя люблю!

Мне кажется, что я заново переживаю смерть Морганы. Здесь уже нет прежней жизни — она стала серой, безмолвной. Вчерашние люди превратились в призраков, обреченных жить и бродить по дому, который теперь лишен права на радость. Моника наконец вышла из своей комнаты. Она перестала есть. Только ходит туда-сюда между диваном, на который то и дело укладывается в своей шелковой пижаме, и комнатой Льюиса, где часто и надолго закрывается. Я представляю, как она сворачивается клубком на кровати сына, вдыхая его запах, оставшийся на подушке, на простынях, и плачет, безудержно плачет. Я не люблю эту женщину, но мне ее ужасно жалко. Моника превратилась в тень. Она блуждает по дому, пошатываясь, держась за стены, за кухонный стол. Не разговаривает со мной. Кажется, даже не видит меня. А я думаю о Саймоне. При мне они ничего ему не объясняли. Знает ли он, что его брат умер? Я не решаюсь спросить об этом в доме, где царит безмолвие. Малыш не упоминает о Льюисе. Два года — это слишком мало, чтобы уметь выразить свои чувства. Похороны состоятся послезавтра. Мы больше не сможем делать вид, что ничего не произошло. Джеймс пошел на работу. Перед уходом

он попросил меня прибрать их спальню, пока Моника лежит в гостиной.

Вот уже несколько дней я не делала у них уборку. Поднимаюсь с ведром наверх. В спальне темнота, ставни закрыты, утренние лучи не могут проникнуть сквозь щели жалюзи. Иду к окну и открываю его, чтобы проветрить комнату. Как мне работать в этом царстве горя? Здесь им пропитано буквально все. Я начинаю с постели, вижу на ней отпечаток тела Моники, всю тяжесть ее скорби. Простыни измяты, покрывало наизнанку, от совершенства этой женщины не осталось и следа, витрина исчезла, на ее месте запустение. Я спотыкаюсь обо что-то, наклоняюсь и обнаруживаю очередную Библию! Она в переплете из черной кожи — как те, что лежат в гостиной и в комнате Льюиса, — но текст на обложке другой. Я читаю:

No **SIN**
Oh my **LORD**
No **REMORSE**
Yes, my **LORD**
Only
Your **GRACE**
And

Our **PURITY**[39]

На корешке «The Holy Bible» нарисован миниатюрный кедр. Я вздрагиваю. Мне холодно. Внезапно Библия выпадает у меня из рук на ковер; я толкаю ее ногой, чтобы вернуть на прежнее место.

Драю ванну жавелевой водой — это вторая любимая вода Моники после парфюмерной воды «Шанель». Ей нужна чистота? Так пусть подавится! Я тру, тру. Туалеты я отмываю со всегдашним отвращением. Следы чужой жизнедеятельности вызывают у меня неудержимую рвоту, и я ничего не могу с этим поделать. Спуская воду в унитазе, вижу в глубине маленький серебристый кусочек металла. Выуживаю его, осторожно зацепив кончиком резиновой перчатки. Он круглой формы, не знаю, что это. Кладу его на край раковины и продолжаю уборку. Раковина покрыта волосками с подбородка Джеймса, плевками зубной пасты. Я

---

[39] Сноски: 39
Никакого ГРЕХА
ГОСПОДЬ мой
Никакого РАСКАЯНИЯ
Да, ГОСПОДЬ мой
Только
Твоя МИЛОСТЬ
и наша ЧИСТОТА *(англ.)*.

оттираю их губкой, стараясь сосредоточить внимание на чем-нибудь другом. Ох, только бы не стошнило! Думаю о том, что мне уже лучше. Несмотря на вселенское горе, обрушившееся на эту семью, я снова живу и чувствую себя нормально. Смотрю на кусочек серебристого металла и замечаю в середине след от прокола. Споласкиваю находку и внимательно ее разглядываю. Я уже видела нечто подобное. Когда-то матери, только что родившей мою сестру, назначили уколы из-за упавшего давления. Медсестра приходила к нам домой несколько дней подряд. Для меня это было событием. Она протыкала иглой алюминиевую мембрану на пузырьке, наполняя шприц витаминным раствором для мамы. Однако я не помню, чтобы Монике проводили такое лечение. Или Джеймсу. Я опускаю в карман этот предмет, похожий на крышечку. Он присоединится к заколке, с которой я никогда не расстаюсь.

Спускаясь по лестнице, вижу внизу Монику, вцепившуюся в перила. Мне видна ее макушка, примятые, плоские пряди волос. Она выглядит резко постаревшей, даже старой. Подойдя ко мне, она едва слышно спрашивает, шевеля пересохшими губами и показывая на свою комнату:

— Я могу вернуться…

Я не слышу в ее словах вопроса, но уже привыкла к такому. И говорю:

— Да, конечно.

Мне немного совестно: чем хуже себя чувствует Моника, тем лучше становится мне. Мы расходимся: я — на первый этаж, чтобы закончить уборку, она — к себе в комнату, чтобы предаться скорби. Дверь за ней закрывается, я представляю, как она, даже не сняв халат, падает на кровать, проваливаясь в тяжелый, тоскливый сон.

Я мою холодильник, когда звонит телефон. А звонит он у нас нечасто. Что-то случилось, я это чувствую. Джеймса нет дома, а я не имею права отвечать, потому что Джеймса по телефону преследуют клиенты, он много раз это повторял. Но принцесса Диана шепчет мне фразу, которую очень трудно перевести на французский и которая мне нравится больше всего: «Don’t play by the rules!» Не играй по правилам! Это приказ,

хотя и в мягкой форме: не соблюдай правила, восстань против установленного порядка. Спасибо, принцесса!

Я подхожу к телефону.

Снимаю трубку и прижимаю ее к уху, как будто боюсь, что ее у меня отнимут. На другом конце провода раздается мужской голос:

– *Buna ziua! Buna ziua?!*[40]

Я не знаю этого языка, но понимаю, что человек очень взволнован. Он явно звонит не для того, чтобы просто поболтать.

Я отвечаю:

– *Yes?*

Мужчина спрашивает:

– *You speak engleză? Vorbești engleză?*

— Да, я говорю по-английски.

– *Sunt tatăl Irina…*[41]

— Ирина?

– *Da asta e, Irina!*[42]

И тут прямо посреди фразы раздается щелчок. Наш разговор прерывается криком, звериным

---

[40] Сноски: 40
Здравствуйте *(рум.)*.

[41] Сноски: 41
Я отец Ирины *(рум.)*.

[42] Сноски: 42
Да, именно Ирины *(рум.)*.

криком, и мне становится до смерти страшно. Это Моника. У меня такое ощущение, будто на меня со второго этажа обрушилось ее безумие. Я в панике вешаю трубку. И сразу начинаю себя ругать. Ну что я за идиотка! Как теперь перезвонить этому мужчине? Я не смею подняться и потому сажусь на нижнюю ступеньку лестницы и смотрю наверх, чтобы оценить ситуацию. Я не вижу Монику. Не знаю, что мне делать. А что, если ей стало плохо? Каждая ступенька — это пытка. Что я обнаружу? Что там сейчас происходит? Я в ужасе. Дверь в их спальню чуть приоткрыта, я пытаюсь заглянуть внутрь. Но вижу только платяной шкаф, поэтому подхожу ближе и как бы нечаянно толкаю дверь. Моника лежит, распростертая на кровати. С ней что-то случилось? Она кричала, чтобы я положила трубку? Подхожу к ней; у меня впечатление, что я стала кинокамерой и перешла на крупный план. Только здесь все далеко не так удачно, как в интервью Дианы: лицо Моники отражает крушение жизни, ее кожа стала серой. Это лицо мертвеца. А ведь она некрасива, настоящая Моника, говорю я себе. Я наклоняюсь и подношу палец к ее ноздрям, как она много раз проделывала при мне с детьми. Чувствую ее дыхание. Она полностью потерялась в этом

новом мире. А вот я его немного знаю. Мир, где все отбрасывает глубокую тень. Выходя из комнаты, напоследок оглядываюсь на свою хозяйку. Уже собираясь тихо притворить дверь, замечаю провод, торчащий из-под кровати, справа от того места, где спит Моника. Возвращаюсь и вижу телефонный аппарат, которого раньше здесь не было. Возможно, она прятала его в тумбочке? Я никогда ее не открывала. А что, если Моника услышала разговор и решила его прервать?

Ирина… С кем я разговаривала? Голос был низкий, хрипловатый, усталый — голос отца.

Зачем он позвонил? Наверняка чтобы забрать удостоверение личности своей дочери, которая или забыла его, или бросила, когда тайком сбежала отсюда. Очевидно, он не знает, где Ирина. Мне ни в коем случае не нужно было класть трубку. Вдруг он больше не позвонит? Есть ли в таком телефоне опция «определитель последнего звонка»? Мне нужна инструкция. Она должна быть где-то в доме. Нужно срочно ее найти, потому что, если я правильно понимаю, можно проверить номер только последнего звонка. Надо спешить, пока новый звонок не стер предыдущий номер. Вспоминаю, что в тумбе под телевизором лежат какие-то технические документы. Так и

есть: я нахожу там множество инструкций — как пользоваться телевизором, видеомагнитофоном, холодильником, микроволновкой, обогревателем, видеокамерой — чем угодно, только не телефоном. Может, они ее не сохранили? Возвращаюсь к телефону и вижу на нем четыре кнопки с непонятными символами. Снимаю трубку и нажимаю на первую: звучит сигнал «занято». Нажимаю вторую — это «громкая связь», и я поспешно убираю палец. Нажимаю третью и слышу: «The last number that called you is zero zero four four one eight one one two three four five six seven»[43]. Записываю номер на верхнем из стопки стикеров. В спешке я не запомнила первую цифру. Снова снимаю трубку и нажимаю на третью кнопку. Теперь у меня есть полный номер. Я прячу заветный стикер в карман.

Что они с тобой сделали, Ирина?

Открывается входная дверь, я слышу лепет Саймона. Иду малышу навстречу. Он видит меня и улыбается:

— А где Льюис?

Я перевожу взгляд на его отца. Джеймс бледен. Я не могу понять, сказал ли он ребенку о смерти

---

[43] Сноски: 43

«Последний номер, с которого вам звонили, — 00 44 181 1234567» *(англ.)*.

брата. Надо улучить момент и задать ему этот вопрос. Джеймс говорит, чтобы я уложила Саймона спать. Это время его дневного сна, он устал. Я отношу малыша в детскую, читаю ему сказку, целую в лобик и тихонько закрываю дверь, чтобы он скорее заснул. А затем быстро, с колотящимся сердцем, иду вниз. Джеймс на кухне наливает себе чай, я встаю перед ним.

— Простите, я хотела бы забрать свое удостоверение личности.

Он молчит. Сейчас не самый подходящий момент, это мне понятно. Я переформулирую просьбу:

— Я хотела бы получить назад свое удостоверение личности.

Догадываюсь, что этого явно недостаточно, и придумываю грубую ложь:

— Оно мне нужно для журфака. Я должна отослать туда свои документы, это срочно.

Джеймс уже собирается выйти из кухни. Он качает головой, и вид у него очень огорченный:

– *No*.

Я не уверена, что хорошо расслышала, — такого ответа просто не может быть.

– *Sorry?*

– *No*, я не могу вам его отдать.

И он уходит. Наверное, ему кажется, что это «нет», такое решительное и не требующее пояснений, завершает наш разговор. Но, черт возьми, это его «нет» оглушает меня! «No» — две буковки, черт бы их побрал, которые хватают меня за горло.

«I can't give you…» Я не могу… Нет, скорее, не хочу. Но почему?

Я в панике. И пытаюсь сообразить, что это за собой влечет. Без удостоверения личности мне не вернуться домой. А может, сбежать? Объясню в полиции, что со мной произошло. Но поймут ли они мои объяснения? И если поймут, поверят ли им? Почему Джеймс не возвращает мне мои документы?

Я нужна ему.

Вот в чем дело, я нужна ему. Мне трудно размышлять хладнокровно. Но я чувствую, что эта необходимость не имеет ничего общего с уборкой, уходом за детьми, трауром. Что-то внутри меня кричит: «Опасность!» Мне чудится, будто я читаю очередной триллер и обнаруживаю, что парень, который был таким классным на протяжении всей истории, на самом деле злодей и отморозок. Черт, но такое же не может происходить в реальности! Я не в книжке! Эй,

здесь же реальная жизнь! Мой мозг судорожно разыскивает в словаре слово, которое описывает то, что я чувствую. Слова «страх» или «ужас» не годятся. Мозг лихорадочно ищет, перебирает. Он должен найти нужное определение, чтобы меня сориентировать. Он должен делать свою работу, но у него ничего не получается. И он сдается. Более сильного слова попросту не существует. Моя голова сейчас расколется о преграду непонимания. Я поднимаюсь в свою комнату и с треском захлопываю за собой дверь. Сажусь на кровать с ощущением, что моя клетка стала меньше. Стены надвинулись. Сегодня ночью, я уверена, они меня раздавят. Встаю и сбрасываю все свои книжки, все свои вещи на пол; мне нужно освободить пространство, чтобы дышать, думать, осознавать, принимать решение. Остаться здесь? Но это хуже, чем умереть.

Они хотят держать меня взаперти? Лишить свободы? Это их цель?

Я срываю с кровати одеяло, простыню, подушку и швыряю их на пол. Толкаю кровать к двери. Она застревает в разбросанных вещах. Я толкаю ее изо всех сил. И оказываюсь между кроватью, стеной и окном. Теперь свободного места еще меньше, чем раньше, но зато мне легче дышать.

Я бешусь от ярости и страха. Даже родители не вызывали у меня такого раздражения, мне незнакомо это ощущение, но я чувствую, что готова на все. Смотрю на окно и понимаю, ясно представляю себе, как открываю его и прыгаю вниз. Это так просто. И до меня это делали другие. Но в тот самый миг, когда в голове рождается эта мысль, на меня нападает приступ рвоты. Я плюхаюсь на четвереньки и извергаю из себя все, что во мне есть; моя жизнь проносится в обратном порядке, я возвращаюсь в прошлое. Я извергаю свой страх, а вместе с ним куски яблока, съеденного за завтраком. Я выблевываю это «No» и ужасающую мысль выпрыгнуть из окна, как Моргана. Как я могла даже подумать об этом? Мои волосы испачканы рвотой. Я не зову на помощь.

Потому что знаю: никто не придет.

Я вымыла пол, яростно оттерев рвоту и брызги желчи. Затем расставила все так, как было, хотя, по правде сказать, от этого «было» теперь мало что осталось. А потом заснула. Как убитая. Проснулась я в жутком состоянии: голову словно сжимали тиски, изо рта воняло. Значит, вчерашнее было правдой? Удостоверение личности, «no»? Они не отдадут его, они намерены держать меня на крючке? Мне надо сваливать отсюда. Сегодня похороны Льюиса. День отчаяния и неизмеримой скорби, о которой никто со мной не говорит. Я словно не существую. Сегодня утром, когда Джеймс должен был везти Саймона в ясли, Монике стало плохо и она упала в кухне. Джеймс вызвал «скорую». С тех пор никаких известий. Я застряла между двумя кошмарами, двумя стенами; даже встав на цыпочки, я ничего не могу разглядеть.

Дом погружен в тишину. Это красивый дом. Он должен был стать началом моей новой жизни. Теперь, я знаю, он сторожит меня, следит за мной. Он — моя клетка, я — его добыча. Как мне отсюда выбраться? Я должна раздобыть свои документы. А потом позвонить родителям и позвать их на помощь. Но сначала нужно удостовериться, что у меня есть все необходимые улики. Первым делом

позвонить отцу Ирины. Да, именно так, чтобы все узнать. Вторым — позвонить родителям. Я все им расскажу, и они приедут за мной, они не оставят меня здесь в таком положении. Если мне придется отказаться от журфака, что ж, ничего не поделаешь, я откажусь. Но думать тяжело: слишком много всего смешалось — страх, неизвестность, безумие, разочарование, паранойя. Правильно ли я все поняла? А что, если я просто не владею культурными кодами? Что, если сказывается недостаток словарного запаса?

Ох уж этот страх, от которого сжимаются внутренности. Я прохожу мимо кабинета Джеймса. Мне хочется туда войти. Нет. Сначала Ирина, затем мое удостоверение.

Я снимаю телефонную трубку и набираю номер отца Ирины. Мне отвечает женский голос:

– *Buna ziua? Cine e la telefon?*[44]

Произнося «р», она слегка грассирует, ее дочь зовут Ирина, и она говорит на румынском. Я обращаюсь к ней по-французски и по-английски:

— Я помощница по хозяйству из Лондона, *au pair from London*.

Наступает тишина. Потом она кричит кому-то:

---

[44] Сноски: 44
Добрый день? Кто говорит? *(рум.)*

– *Vino, Nicolae, e au pair-ul din Londra la telefon!*[45]

– *Buna ziua?* — говорит отец Ирины.

— Да, *yes*.

Он произносит по слогам:

– *Irina dis-se-pea-red. Twenty-two weeks. Where she? Where she?*[46]

Ирина пропала? Двадцать две недели назад? Я растеряна. В его голосе звучит боль родителей, которые отпустили своего ребенка в неведомую даль, доверившись респектабельным иностранцам, таким богатым, таким достойным…

Ирина… такая же, как я. Ирина, мой двойник. Где же ты?

Входная дверь открывается. Я кладу трубку и делаю вид, что протираю столик. Джеймс на меня не смотрит, сразу поднимается в свой кабинет. Мое удостоверение личности…

---

[45] Сноски: 45

Иди сюда, Николау, девушка из Лондона звонит! *(рум.)*

[46] Сноски: 46

Ирина пропала. Двадцать две недели назад. Где она? Где она? *(искаж. англ.)*

Я не заходила в комнату Моники уже четыре дня. Открываю дверь и чувствую запах смерти. Что больше всего меня расстраивает, так это постель. Смятая, неряшливая, смердящая… Я меняю простыни, убираю ванную комнату, вытираю пыль, затем открываю платяной шкаф. Впервые за все время. Обычно, погладив ее платья, я вставляю в них плечики и кладу на кровать, а она убирает их в шкаф сама. Это ее указание, и я всегда ему следовала. Но сегодня похороны Льюиса, и все это не имеет смысла. Я раздвигаю дверцы шкафа и бросаю взгляд на содержимое. Трогаю ткани. Ощущаю прикосновение шелка, кашемира, атласа, бархата — все так красиво и приятно на ощупь… Все развешано по длине, все дорогое и модное. Но я уже давно поняла, что у них в доме нельзя доверять первому впечатлению, что за безупречным порядком часто скрывается что-то совсем другое. А порядок любезен дьяволу. Внизу, под висящей одеждой, лежит коричневый плед. Я снимаю его, и под ним обнаруживается шкафчик. Совсем маленький. Я встаю на колени и открываю верхний ящичек. В нем аптечка: компрессы, пластыри… и шприцы. Для чего они? Во втором ящичке — большой пакет ваты, он занимает все место. В третьем — коробки с лекарствами:

от головной боли, от простуды… ничего интересного. Я снова открываю средний ящик. Беру пакет с ватой, запускаю туда руку, вата мягкая, пушистая… но внезапно мои пальцы нащупывают в ней стекло. Я нахожу четыре пузырька с прозрачной жидкостью, закрытые алюминиевой мембраной, — точно такой же я нашла в туалете. На каждом пузырьке этикетка с тремя буквами: GHB. Я медленно сажусь на толстый ковер; его нежное прикосновение усиливает мой страх.

GHB — мне знакомо это название. Отец однажды заставил меня прочитать статью в «Уэст-Франс». В одном ночном клубе в Ренне девушку накачали наркотиками. Какой-то парень подлил ей что-то в виски с колой. На следующее утро она проснулась у себя дома — голая и ничего не помнящая о происшедшем. По-видимому, ее изнасиловали. В лицее эта история вызвала настоящий психоз, девочки только о ней и говорили. Ковер будто тает под моим телом — он, как мягкое чрево, открывается и заглатывает меня; это одновременно приятно и отвратительно, мне хочется отпустить себя, дать себя переварить. И исчезнуть. В этом приступе слабости на меня обрушиваются обрывки то ли воспоминаний, то ли пережитых ощущений: тело Джеймса,

приступы рвоты, мужская рука на моей спине, беспокойные ночи, эрегированный член, тяжелый сон, шум за стеной моей комнаты, плачущая Моника, чудовищная усталость… Льюис бредет, хромая, куда-то по дороге; Моргана, спрятавшись в моем матрасе, шепчет: «Я рядом!»; Ирина стоит на коленях между моей кроватью и перегородкой и пишет внизу обоев: «Я знаю, зачем я здесь». Какая-то каша из отрывочных образов и тошнотворных запахов.

— Эммилу!

Джеймс зовет меня из прихожей. Я хватаю пузырек со шприцем, прячу свою добычу в корзину с грязным бельем и задвигаю ее под кровать. Затем спускаюсь, не зная, чего ожидать. Джеймс на кухне встречает меня грустной улыбкой. Он касается моей руки, словно для того, чтобы привлечь внимание, и я резко отшатываюсь. Мое тело противится его прикосновениям. Я держусь на расстоянии. Он спрашивает, все ли у меня в порядке. Молча киваю и прижимаюсь к стене. Я больше никогда не смогу подойти к нему. Он объясняет:

— Я хотел поговорить с вами о сегодняшнем дне. У Моники сильно упало давление, я поеду за ней в клинику, перед тем как отправиться в

церковь. Саймон проведет день в яслях. Он не может… Он не может… В общем, вы понимаете…

Последняя фраза повисает в воздухе. Горе… Боль во мне борется с гневом и ненавистью к этим людям, которые считают, что им все дозволено. Джеймс начинает всхлипывать, но я не утешаю его. Мне ни в коем случае нельзя раскисать. Я улыбаюсь, изображаю сочувствие. Но все мое естество беззвучно кричит: «Что вы со мной сделали?!»

Хайгейтское кладбище находится на полпути между нашим домом и центром Лондона. Никогда бы не подумала, что оно может располагаться в таком месте. Для меня кладбище — это что-то вне поля зрения, в стороне от обычной жизни, его даже нет на карте — вот как у нас, в Плуэрнеке. Ведь смерть стараются спрятать, разве нет? Моника только что вернулась из клиники. Она похожа на призрак. На Джеймсе черный костюм; прежней его красоты нет и в помине. Мне же надеть нечего. Я никого не собиралась хоронить в Англии. И Моника не предлагает мне свое платье, как перед вечеринкой у наших соседей. Праздник окончен. С тех пор как я осмелилась самовольно выйти из дома, да еще и попросила свое удостоверение личности, хозяева меня почти не замечают. Я поеду на похороны мальчика, которого знала всего три месяца из тех десяти лет, что он прожил.

Через несколько дней наступит Рождество.

Сегодня я окажусь в обществе людей, которых почти не знаю, которые ничего не знают обо мне, и я буду одета, как деревенщина (дополнительное унижение!), однако на меня вряд ли обратят внимание. Скорее всего, меня просто проигнорируют.

Я не видела своих хозяев и обедала в одиночестве. Но они были дома. Они всегда где-то рядом. И от этого я задыхаюсь. В холл спускается Моника в черном платье; красиво уложенные волосы окружают бледное лицо убитой горем матери. Вид у нее одновременно прекрасный и пугающий; она берет пальто и свою темную шляпу. Я понимаю, что мы уезжаем. Джеймс выходит из гостиной и тоже одевается в прихожей. Он открывает дверь. Я мешкаю: вдруг про меня забудут и я останусь дома? Но Джеймс говорит, не оборачиваясь:

— Эммилу…

Он оставил дверь нараспашку и вышел. Я иду за ним и сажусь в машину сзади. Ледяная атмосфера, небо, набухшее слезами, серое от горя, холодные сиденья, окоченевшие руки; я растираю их, чтобы согреться. В знак траура соседи выключили свои рождественские гирлянды, фасады домов больше не светятся. Свет изгнан из этого дня. Моника спрашивает Джеймса, где на кладбище находится крематорий. Это слово вызывает у меня приступ тошноты. Мне неловко: я не хочу выглядеть несчастней их. Моника смотрит на меня в зеркало заднего вида. Она не желает, чтобы мне было хуже, чем ей. Это она — жертва. Крематорий. В моем сознании Льюис

сливается с горящим гробом — невыносимая картина, это так чудовищно, так безумно, что я не могу удержать эту мысль. И отпускаю ее, как воздушный шар, и нитка извивается между моими пальцами. Шар тонет в облаках. От него остается лишь точка. Его больше нет. Все кончено. Он никогда не существовал.

Моника кладет руку на колено Джеймса. Это первый жест любви между ними, который я вижу, он красив, но в нем чувствуется безнадежность. Я снова думаю о ней и Митчеле. Бедный Джеймс, если бы он только знал… Наверное, смерть сближает, или все стирает, или мешает думать, или все это вместе. Я вижу их напряженные, белые как мел шеи. У меня странное ощущение, что я — их единственный ребенок, пристегнутый ремнем на заднем сиденье. Но ребенок, которому не положено ни любви, ни внимания. За окном проносятся пригородные дома, повсюду Рождество, стволы и ветки деревьев увиты электрическими гирляндами, в огромных окнах виднеются богато украшенные и мигающие лампочками елки. Эта обыденность, это безразличие к нашему горю усугубляет душевную боль.

Мы паркуемся перед входом на кладбище. Громадные ворота из кованого железа широко распахнуты и равнодушно заглатывают как туристов с рюкзаками, так и семьи в трауре. На первый взгляд все тут кажется запущенным, ничего общего с нашими кладбищами, где бетон и печаль властвуют над природой, где могилы за неимением места жмутся друг к другу. Здесь царит растительность, и она подавляет человеческое отчаяние: гигантские деревья, буйные травы скрывают тропинки к склепам. Крематорий находится справа. Об этом извещает скромный указатель. Простое здание из красного кирпича с дымоходом на крыше. Деталь, от которой внутри у меня все холодеет. Мы входим, вокруг знакомые лица — это наши соседи. Все в черном, все в шляпах. Знают ли они причину смерти Льюиса? На похоронах Морганы было гораздо больше народу: друзья, друзья друзей, владельцы окрестных магазинчиков, сослуживцы родителей и даже мой дядя, моя тетя и моя кузина — все они любили Моргану. Здесь же собралась совсем небольшая кучка людей. Митчел обнимает Джеймса, шепчет ему что-то на ухо — наверное, слова поддержки. Какая-то тщедушная особа, которую вполне можно принять за ассистентку Смерти, машет

нам, приглашая подойти поближе. Я совершенно опустошена. Пытаюсь поймать чей-нибудь сочувственный взгляд. Холли, проскальзывая мимо, слегка пожимает мне руку. Мы входим в современного вида часовню. Стены из светлого бетона, балки в вышине образуют свод, как в соборе. Широкий занавес из красного бархата, напоминающий театральный, скрывает стену в глубине. Я больше не могу сделать ни шагу. Вижу, как соседи рассаживаются парами, семьями на стульях, расставленных полукругом. Мне совсем неохота подходить ближе, так и подмывает улизнуть отсюда. Кто-то толкает меня, я оборачиваюсь. Это Моника, она хочет пройти вперед. Я пробираюсь в предпоследний ряд, чтобы не привлекать к себе внимания. Перед алым занавесом снова появляется тщедушная особа. Она наклоняется к Джеймсу, чтобы узнать, все ли приглашенные на месте, готовы ли мы, не ждем ли еще кого-нибудь. Джеймс оборачивается. Не знаю почему, но я делаю то же самое. В часовню входят Джон и Ева. Я не столько вижу, сколько догадываюсь, что за ними идет их помощница Нэла с их маленькой дочкой. Но разве это подходящее место для такой малышки? Они усаживаются за мной. Раздается несколько гитарных аккордов,

и женский голос начинает петь об ином мире по другую сторону радуги, о мечтах, которые сбываются. Это детская песенка. Детская песенка в крематории. Это жестоко. Невыносимо. Я узнаю «Over the Rainbow»[47].

Занавес идет вверх. Появляется гроб Льюиса. Маленький белый ящик для человека, которому не суждено было вырасти. На нем стоит фотография в рамке: темные волосы, лишенное красок серьезное лицо и венок из голубых цветочков. Вокруг меня все закрывают глаза и склоняют голову.

– Lord our God, we come to you with heavy hearts, full of pain and sorrow. We know why our dear child was taken from us so soon. Your will is done and we know that love can forgive everything. Grant us the grace to remember Lewis with love and gratitude, and to live each day knowing that your promise of eternal life is true. In the name of Jesus Christ, Our Savior, we pray. Amen.

«Владыка Небесный, мы пришли к Тебе с тяжелым сердцем, полным боли и печали. Мы знаем,

---

[47] Сноски: 47

«Высоко над радугой» *(англ.)* — баллада Гарольда Арлена на стихи Йипа Харбурга из мюзикла американского кинорежиссера Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» («The Wizard of Oz», 1939), где ее спела исполнительница роли Дороти Джуди Гарланд.

почему наше дорогое дитя было у нас отнято так рано. Твоя воля свершилась, и мы знаем, что любовь всепрощающа. Даруй нам благодать помнить Льюиса с любовью и благодарностью и жить каждый день, зная, что Твое обещание вечной жизни непреложно. Во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, мы молимся. Аминь».

«Мы знаем, почему наше дорогое дитя было у нас отнято так рано». Мы знаем… Но что они знают? А еще эти слова, которые я прочитала в Библии Уайтов: любовь все прощает, все оправдывает. Неужели все? Уайты все прощают Богу или это любовь Бога все прощает Уайтам? Но что им прощать? Что они сделали?

Внезапно я перестаю слышать, словно отключаюсь. Я на похоронах Морганы, мое тело сотрясают приступы тошноты. Меня закрыли в особняке, закрыли в резиденции, закрыли в чужой стране. Я в плену. Как уехать, как вернуться домой, в дом, который я так ненавидела, из которого так хотела сбежать? Я сожалею обо всем, позвольте мне вернуться! На последних музыкальных аккордах стена раздвигается. В глубине зияет отверстие, где танцуют языки пламени. Собравшиеся отшатываются с возгласами «ах!»; они словно заглянули в ад. Как можно было такое придумать?! Когда

гроб приближается к пылающему костру, Моника теряет сознание. Джеймс успевает ее подхватить и прижимает к себе. Гроб исчезает, занавес опускается. Мой мозг работает как сумасшедший, не желая представлять себе, что будет дальше. Разве может чертов занавес заставить забыть об этом? А эта слащавая музыка… Хуже, все хуже и хуже… Что теперь будет? Моника с Джеймсом встают, медленно идут к выходу и останавливаются у дверей. Чего они ждут? Я пропускаю всех вперед. *Sorry for your loss*[48]. Люди становятся в очередь, чтобы выразить свои соболезнования. Я оборачиваюсь и вижу Джона, Еву, их помощницу и маленькую девочку. Не знаю, возможно, слезы затуманивают мне зрение, я несколько раз открываю и закрываю глаза и вижу четырех человек, стоящих в ряд; они кажутся семьей. Да нет же, это не четыре человека из одной семьи, это отец, мать, ребенок и няня. Я слышу, как мама говорит:

— Эдвидж, пожалуйста, веди себя хорошо.

Я смотрю на девочку: она маленькая, у нее тонкие темные волосы и зеленые глаза. Похожа она на своего папу? Да. На маму? За исключени-

---

[48] Сноски: 48
Соболезную вашей утрате *(англ.)*.

ем длинных волос — не особенно. А на няню? Неоспоримое сходство. Да, неоспоримое.

Джеймс и Моника не стали дожидаться моих соболезнований. Сейчас их окружили наши соседи. Но где родственники? Дяди, тети, кузены, племянники? Дедушка и бабушка умерли. Тогда хотя бы родители Моники — они-то живы, если я правильно поняла его слова в нашем ночном разговоре.

Нас ждет накрытый стол. Та же самая тщедушная особа, лишь наполовину присутствующая в этом мире, берет на себя роль барменши. Я подхожу: здесь предлагают джин и виски. «Нет, спасибо, мне воды, пожалуйста». Есть также закуски и горячие сосиски. Через несколько минут у всех в руках появляются бокалы, голоса становятся громче, атмосфера почти непринужденная. Я в шоке от этого похоронного фуршета: мы находимся на самом дне пропасти. Но стоит спрыснуть происходящее несколькими глотками алкоголя, как жизнь возобновляется! Я прислоняюсь к стене около какого-то зеленого растения в кадке — мы с ним, можно сказать, друзья по несчастью. Мне хочется исчезнуть. Я вижу, даже не глядя, лица, жесты, силуэты, позы. Все эти скорбящие люди ходят взад-вперед, наклоняются над столом,

отпивают из бокалов, беседуют, похлопывают друг друга по плечу, утирают слезы. Странное впечатление гармонии и единства… Возможно, это сходство, невольное подражание друг другу — результат того, что люди уже много лет живут в одной резиденции «Хидден-Гроув»? Сочувственные улыбки, печальные взгляды, склоненные головы. Внезапно у меня наступает прозрение. Их черты и жесты слагаются в некий молчаливый танец, продолжающийся с почти незапамятных времен. У всех, кого я тут вижу, есть нечто общее — невыразимое, но притом очевидное; каждый человек здесь является вариацией другого, лишь слегка измененной версией единого шаблона. Они — осколки одного зеркала. Вокруг меня медленно складывается пазл. Девушки-няни похожи на детей, которые похожи на родителей, которые все похожи между собой. У меня кружится голова. Я понимаю, что я — единственная посторонняя в этой живой картине.

И они знают, что я это знаю.

В их взглядах я читаю тихую угрозу: своя кровь держит крепко, от семьи не сбежишь.

Мы выходим из крематория. Каждый шаг — пытка. И что дальше? Тщедушная распорядительница держит в руках фарфоровую вазу с крышкой. Она приближается к родителям. Склонившись, передает им вазу и исчезает. Надо полагать, у нее еще много мертвецов, которых нужно превратить в пепел. Вазу несет Джеймс. Моника плачет. Нэла подходит ко мне и шепчет, что в урне лежит Льюис. Потому что это урна. Я не знаю такого слова — это как маленький гроб для праха. Есть даже выражение «погребальная урна», *funeral urn*. Это ей объяснили хозяева, когда рассказывали, как будет проходить церемония. Ей повезло, о ней заботятся. Джеймс и Моника со своим ребенком в урне идут вглубь кладбища. Мы все следуем за ними, один за другим, молчаливой процессией. У меня ощущение, будто я вхожу в запретный лес, населенный дубами, платанами, липами и еще какими-то деревьями, названия которых я не знаю… растительная пелена, словно сотканная гигантским пауком. На три метра вперед ничего не видно. Приходится раздвигать ветки, поднимать ноги, чтобы не споткнуться о корни; это как долгая загородная прогулка, только совершенно безрадостная. По обе стороны от тропинки через каждые двадцать метров откры-

вается что-то новое: или кельтский крест, или могильный памятник в виде фортепьяно, или скромное потемневшее надгробие, окутанное влажным мхом. Природа — это незримая мощь, застывшая в печали; нас как будто поглотило, погребло, незаметно переваривает. Я вижу под землей Моргану, вижу корни, которые проникают в ее разлагающийся гроб и пронзают тело; представляю себе грибы, растущие из деревянной крышки рядом с ее ртом, как обещание пира в загробном мире; в ее теплых внутренностях копошатся черви, прокладывая в них ходы. Вся эта жизнь лакомится смертью, кормится ею. Смерть — неиссякаемый источник энергии.

Митчел и Холли подходят ко мне, берут под руки. Как это мило! Митчел объясняет, что на этом кладбище хоронят очень редко, в год здесь появляется только пятьдесят новых могил. Вы можете упокоиться на нем лишь в том случае, если у вашей семьи уже есть могила или *a concession for a family columbarium*[49], как у Уайтов… Да, у них особые привилегии. Я быстро теряю нить разговора. Холли уточняет, что колумбарий — это склеп, в который можно поместить несколько

---

[49] Сноски: 49
Право на семейный колумбарий *(англ.)*.

урн с прахом членов семьи.

— Хайгейт — престижное место, — продолжает Митчел. — Часть «Великолепной семерки» — семи кладбищ, основанных в Лондоне в девятнадцатом веке, чтобы разгрузить приходские кладбища в исторической части города, которые уже были переполнены. В то время студенты-медики частенько перелезали через кладбищенскую ограду и выкапывали трупы для своих практических занятий по анатомии…

– *Stop it, Mitchel!*[50] — прерывает его Холли. — Ты напугаешь девочку своими историями!

Я прошу их повторить многие слова, которых не знаю. Мы идем долго — кладбище просто огромное. На некоторых могилах — венки из еловых веток, из остролиста с красными ягодами, на других — лампады с дрожащими язычками пламени внутри. Здесь тоже Рождество. Холли указывает мне на склеп справа: мы находимся в конце Египетской аллеи, и этот белый мавзолей принадлежит известному лондонскому банкиру — Юлиусу Биру, который жил в конце девятнадцатого века. Он потерял свою любимую дочь, ей было всего восемь лет. Безутешный отец

---

[50] Сноски: 50
Прекрати, Митчел! *(англ.)*

воздвиг для нее эту гробницу. Если заглянуть в маленькое окошко, можно увидеть белую мраморную скульптуру: ангел возносит девочку на небеса. Позднее неподалеку были похоронены сам банкир и его жена. Холли очень взволнована. Митчел добавляет, что иногда они здесь гуляют… хотя, конечно, он даже представить не мог, что однажды они придут сюда на похороны ребенка, которого знали и любили. Мы всегда думаем, что горе случается только у других, и втайне утешаемся этим.

Я слушаю, убаюкиваемая их словами, согретая их прикосновениями; они идут бок о бок со мной и дарят мне внимание, которого я лишена, но я все равно не забываю об их сходстве с другими жителями нашей резиденции, с Джеймсом и Моникой. Кем они все-таки друг другу приходятся? Двоюродными братьями-сестрами, дальними родственниками? И как объяснить отношения между Митчелом и Моникой? Если они действительно кузены, разве это нормально? Я также не забыла их детскую, где с игрушек не снята фабричная упаковка, и пустую кроватку, и то, что у их няни нет ребенка, за которым нужно присматривать. Может, они потеряли свое дитя или только ждут его? Хочется спросить их об этом, но

мне неловко. Кто я такая, чтобы задавать подобные вопросы? Впервые за несколько месяцев я погружена в какую-то истому.

Моника и Джеймс остановились у гигантского дерева, ветви которого дружно устремлены к небу. Мне оно знакомо — это ливанский кедр, кедр Уайтов, тот, что нарисован рядом с именами и фамилией Реджинальда и Эйлин Уайт в Библии Льюиса. Под шатром его листвы высится огромная плита черного мрамора, разделенная на десятки отсеков. На многих уже выгравированы фамилии, но с такого расстояния я не могу их прочитать. Судя по всему, Уайты — очень большая семья. Одна дверца широко открыта. Джеймс подходит туда и ставит в нишу урну с прахом Льюиса, затем вопросительно смотрит на Монику, но та не реагирует. Тогда он осторожно закрывает дверцу и нажимает на нее, чтобы запереть навсегда. Прах их ребенка — их плоть и кровь, их нынешняя жизнь, их будущее, их наследник — замурован навеки. За этой дверцей угасает не одна жизнь, а все жизни этой семьи. Я впитываю их боль, смешиваю ее со своей, и эта тяжкая смесь рождает зловещие образы.

Льюис Уайт
1986–1996

Моника медленно оседает наземь; несколько соседей бросаются к ней, чтобы поддержать. Я ви-

жу маленькую группу — крепкую, сплоченную, готовую помочь и утешить, вижу протянутые руки, подставленные плечи. Я тоже иду вперед, подхожу очень близко к колумбарию и читаю позолоченные буквы имен.

Милисент Уайт 1890–1941
Уилфред Уайт 1883–1949
Амброз Уайт 1917–1966
Харриет Уайт 1919–1969
Реджинальд Уайт 1940–
Эйлин Уайт 1942–
Джеймс Уайт 1965–
Моника Уайт 1967–
Митчел Уайт 1958–
Холли Уайт 1962–
Дэвид Уайт 1969–
Лайза Уайт 1965–
Джон Уайт 1963–
Ева Уайт 1969–
Льюис Уайт 1986–1996

Я стараюсь запомнить этот список, чтобы в случае чего не попасть впросак. Реджинальд и Эйлин не умерли, вопреки тому, что мне рассказывал Джеймс. Почему он мне солгал? Может, они рассорились? Но самое тревожное не это, а

другое: фамилия Уайт, повторяющаяся на плите бесконечное число раз: Джеймс, Моника, Митчел, Холли, Дэвид, Лайза, Джон, Ева… Неужели они члены одной семьи?

Я разворачиваюсь и бегу к гуще деревьев.

Бегу сломя голову, сворачиваю с дорожки и углубляюсь в темный подлесок. Вокруг ни души. Ноги в кожаных ботинках сильно болят, я слишком затянула шнурки, опасаясь, что они развяжутся во время похорон, и теперь они режут мне лодыжки, тормозят меня. Я бегу, но куда? Мне незнакомо это место, как я отсюда выберусь? И что потом? У меня нет ничего, кроме холщовой сумки и десяти фунтов наличными. Кладбищенский парк огромный. Там, где я оказалась, он совершенно безлюден; должно быть, это северная часть Хайгейта. Я поворачиваю налево — никаких указателей; пересекаю поляну, загроможденную развалившимися, покосившимися из-за дождей надгробиями. Словно ощерившийся в улыбке гнилозубый рот. Мне не хватает дыхания (я уже много месяцев не занималась спортом), у меня все болит, я бегу от своих догадок, от смутной угрозы, от новой, чудовищной паники, от чего-то отвратительного, что застряло на пути между моим сознанием и подсознанием. Перепрыгиваю через травяной бордюр и вскрикиваю. Передо мной — голова с волосами, похожими на ползучие растения; безумные каменные глаза смотрят прямо на меня. Оказывается, сама того не замечая, я поднялась на огромное надгробие, увенчанное

скульптурой какой-то женщины. Спускаюсь и снова бегу; вижу гигантские кованые ворота. Выход? Нет, это обманка. За решеткой каменная стена. Выход замурован. Я даю себе несколько секунд, чтобы отдышаться и подумать. Могу ли я на нее взобраться? И перелезть на другую сторону? Нет, она слишком высокая. Меня душат слезы. Что я делаю? Какого черта я здесь?.. Ладно, двинусь вдоль ограды, обойду ее и в конце концов найду лазейку.

Я оборачиваюсь — передо мной стоит Митчел.

Он произносит мое имя с вопросительной интонацией, как будто спрашивает сам себя, что со мной происходит. Мне хочется отпрыгнуть подальше, я продолжаю идти вперед, но его взгляд меня останавливает. Он кладет руку мне на плечо и говорит:

— Тебе надо вернуться. Не устраивай сцен. Пойдем.

Я узнаю его обычную доброту, но чувствую также твердость и какую-то новую холодность — он не оставляет мне выбора. Мы молча шагаем по кладбищу. Он держит меня за руку, словно боится, что я от него ускользну, — он знает, почему я сбежала. И возвращает меня на место. Похоже, он здесь отлично ориентируется.

Джеймс и Моника уже сидят в машине у входа на кладбище. Я вижу их белые, напряженные шеи. Они похожи на родителей, которые ждут свою сбежавшую дочь. Вид у обоих подавленный. Митчел наклоняется к окну водителя. Они с Джеймсом о чем-то шепчутся. Потом Митчел снова подходит ко мне, открывает передо мной дверцу и вынуждает сесть назад. Джеймс и Моника со мной не разговаривают, они погружены в свое горе. А я погружена в свой страх.

Едва приехав домой, Джеймс снова куда-то отправляется. Я наблюдаю за ним из окна прихожей — он не садится в машину, а идет по резиденции. Моника уснула на диване. Я бесшумно закрываю дверь гостиной, торопливо иду к телефону и набираю номер родителей. Они должны приехать и забрать меня. Я буду их умолять. Линия занята. Наверное, я слишком быстро вертела диск. У меня дрожат пальцы, это просто кошмар. Я снова набираю номер, делая глубокие вдохи, чтобы не спешить. По-прежнему занято. Я достаю из кармана клочок бумаги и звоню родителям Ирины. Опять занято. Телефон неисправен. Неисправен? Или… Черт, они его отключили! Я вижу сумку Моники, висящую на вешалке, ее большую, роскошную кожаную сумку, в которой она таскает все, что только может понадобиться. Открываю ее, просовываю руку внутрь — мне нужны веские доказательства их безумия. Пальцы нащупывают увесистый пухлый ежедневник. Я достаю его и листаю — между страницами вложены десятки разных бумажек, рецептов, счетов. Ничего интересного. Я уже собираюсь его захлопнуть, когда замечаю какие-то конверты. Кому она пишет письма? Заноза снова напоминает о себе. Теперь она колет меня между лопатками. Это два моих

последних письма, адресованные Кристине Лебиан для передачи Виржини, я узнаю свой почерк. Конверты вскрыты.

Поднимаюсь в свою комнату. У меня подкашиваются ноги. Нужно срочно что-то предпринять. Где искать помощь? Я обдумываю варианты. Кристина, девушка для услуг в доме Митчела? Она и Холли ездят в город каждый вторник. Может, ей удастся отправить мое письмо? Сегодня понедельник. Я бросаюсь к блокноту, страницы которого заменяют мне писчую бумагу.

Виржини,

ты не получила мои последние письма – я только что обнаружила, что Моника их так и не отправила. Я там спрашивала тебя о Льюисе и о Саймоне. Ты должна знать, что Льюис умер. Его родители не объяснили мне, от чего, но я поняла, что он был очень болен. Я пыталась дозвониться своим родителям, но телефон отключен. Еще пропала одна девушка, Ирина, а малышка Джона и Евы – вылитая Нэла, а все соседи принадлежат к одной-единственной семье. Представляешь? Я не знаю, что здесь происходит. Прости,

пишу бестолково, но я ничего не могу понять, я измучилась, у меня частые головные боли и тошнота; кажется, меня накачивают наркотиками, я хочу уехать. Как только получишь это письмо, предупреди моих родителей, скажи отцу, чтобы он за мной приехал, прошу тебя, сделай это поскорее, мне в жизни не было так страшно. Умоляй его, даже если он скажет, что я без царя в голове и сама настояла на отъезде.

Эммилу

Я спала как убитая и не слышала сигнала будильника. Поспешно встаю, выглядываю в окно из моей ванной комнаты: машины Джеймса нет — наверное, он повез Саймона в ясли. Я вижу, как Митчел и Холли вместе уезжают на работу. Подхожу к комнате Моники и прислушиваюсь: она все еще спит. Прихватив письмо для Виржини, быстро спускаюсь. Бесшумно открываю входную дверь, иду к соседям и, вдохнув поглубже, звоню в дверь: не хочу, чтобы Кристина заметила мою нервозность. Она удивляется, увидев меня на пороге, и бормочет, глядя в пол: «*Sorry for your loss*, мои соболезнования». Я спрашиваю, может ли она отправить мое письмо. Говорю, что это важно, это для журфака, мол, одна подруга должна меня туда записать, а мне не хочется беспокоить своих хозяев, потому что они в трауре. Она молча берет письмо — теперь я знаю ее лучше и испытываю к ней доверие. Письмо должно дойти за четыре дня, я это выяснила перед отъездом, в то время, когда еще только мечтала об этой поездке и представляла, как буду переписываться с друзьями и родными. Скоро приедет мой отец… Через шесть дней я буду на свободе. Счастливого Рождества, родители.

Я так нервничаю, что не сразу возвращаюсь домой. После моего побега меня не оставляют одну надолго. Я пользуюсь этими последними минутами, чтобы исследовать «Хидден-Гроув». Чей-то взгляд постоянно следит за мной, но мне плевать, я привыкла, что за мной наблюдают, и направляюсь к дому, выставленному на продажу. Он пятый по счету, просто элемент здешнего пейзажа. Никто не говорит о нем, он никому не нужен и, похоже, всеми забыт. Но почему такой красивый особняк не находит ни покупателей, ни арендаторов? Я помню о том, что за мной следят, и не встаю напротив, а обхожу дом по аллее, которая отделяет его от дома Нэлы. В конце аллеи живая изгородь из густого кустарника. Я прикидываю, смогу ли пролезть сквозь нее в сад. Просовываю руки и сразу вытаскиваю их обратно. Они здорово исцарапаны. Прощупываю всю живую изгородь. В ней есть брешь: в одном месте на уровне пояса листва пожухла — один из кустов, наверное, поразила какая-то болезнь. Я пользуюсь этим и легко раздвигаю высохшие ветки. Прямоугольная лужайка запущена — это контрастирует с ухоженностью остальной части резиденции. Обхожу особняк: он в точности такой же, как наш, и мне это даже на руку. Я соби-

раюсь войти в дом через дверь гаража. Несколько раз туда-сюда заколкой, и замок поддается. Дом холодный и темный, от него веет мерзостью запустения. Первый этаж похож на все остальные: те же размеры, то же расположение комнат. Только здесь нет ни тепла, ни жизни. Я поднимаюсь по лестнице, представляя себе большие пустые спальни, ванные комнаты, в которых не бывает пара. И зачем они тогда?

Я уже собираюсь спускаться, когда вдруг чувствую, что откуда-то тянет легкой сыростью. Воздух теплый, в нем ощущается присутствие человека. В первый момент меня охватывает тревога, но желание узнать сильнее. Замечаю две открытые двери.

Берусь за ручку двери левой спальни и не решаюсь войти. Пытаюсь себя успокоить: дом заброшен, почему он может представлять угрозу? Вхожу. Крест, украшающий белую стену напротив меня, кажется нелепым в этой пустоте. Маленький деревянный крест без фигурки Христа, можно сказать, просто две связанные палочки. Под этим религиозным символом стоят скромный стол и стул светлого дерева. Справа радиатор. Я прикасаюсь к нему — он теплый. Над ним книжная полка с Библией, точно такой же,

как в комнате Моники. Я беру ее. На переплете написано:

Никакого ГРЕХА
ГОСПОДЬ мой
Никакого РАСКАЯНИЯ
Да, ГОСПОДЬ мой
Только
Твоя МИЛОСТЬ
и наша ЧИСТОТА

Рядом с Библией толстый белый том с текстами молитв. Я тяну его к себе и замечаю уголок тонкой тетради, зажатой двумя тяжелыми книгами. Я открываю ее. Вижу столбцы чисел со знаком £ — фунты стерлингов. Это какие-то бухгалтерские записи. На каждый год отведено по одной странице, начинается все с 1987-го.

1987
ДУ: £ 800 000 + £ 200 000
ДУ: £ 800 000 + £ 200 000
ДэУ: £ 800 000 + £ 200 000
МУ: £ 800 000 + £ 200 000
1988
ДУ: £ 30 000
ДУ: £ 30 000

ДэУ: £ 15 000 + £ 15 000
1989
ДУ: £ 35 000
ДУ: £ 35 000
ДэУ: £ 17 000 + £ 18 000
1990
ДУ: £ 40 000
ДУ: £ 40 000
ДэУ: £ 40 000

ДУ, ДэУ, МУ — это Джеймс Уайт, Джон Уайт, Дэвид Уайт, Митчел Уайт? Но почему с 1988 года исчезают инициалы «МУ»? И что означают эти суммы — 800 000 фунтов? Это же целое состояние! Одинаковые суммы, уплаченные каждым жильцом-мужчиной. Может быть, это покупка домов… А дополнительные двести тысяч фунтов? Я считаю в уме: двести тысяч фунтов умножить на четыре… это восемьсот тысяч? Стоимость одного особняка… Каждый заплатил часть стоимости пятого особняка? Но зачем? Значит, он вовсе не продается. Он принадлежит им всем? А эта резиденция, «Хидден-Гроув», — их совместный проект? В 1988 году Льюису было два года. Именно тогда было составлено медицинское заключение о его генетическом заболевании.

Поэтому они решили жить здесь все вместе? Все становится яснее и одновременно запутаннее. Что означают эти суммы, выплаченные в течение нескольких лет? Кому они предназначались? Митчелу, потому что он единственный, чьего имени нет в списке? На следующих страницах я вижу другие суммы и даты. Пролистываю первые годы и задерживаюсь на нынешнем, 1996-м.

1996
Садовник: £ 8 234
Сантехник: £ 4 700
В: £ 10 000
Видеонаблюдение: £ 6 089

Взгляд задерживается на букве «В» и сумме напротив нее: £ 10 000. Я отлистываю назад, к предыдущим годам.

1995
В: £ 10 000

Но раньше — ничего. Этому есть какое-то объяснение, однако я буксую. Минуты летят; я откладываю тетрадь и беру вторую толстую книгу. Она в белом кожаном переплете. На корешке ничего нет, но сверху выгравирована большая

золотая буква «У». Еще одна Библия? Это не типографское издание, потому что текст написан от руки, я пытаюсь его разобрать.

О Ты, Предвечный Отец, сотворивший небо и землю, мы обращаемся к Тебе в этот день, связанные кровью и верой, неся наследие наших предков. Мы, наследники рода, сохранившего свою чистоту, услышали Твой призыв в шуме ветра и в пении звезд. Четыре поколения сменились с тех пор, как наши отцы и матери скрепили свои союзы под Твоим оком в страстном желании сохранить чистоту, которую Ты доверил нам блюсти.

Я перевожу медленно и очень приблизительно. Не все слова мне знакомы, но видно, что стиль очень напыщенный, — это похоже на молитву с обязательным коленопреклонением.

Согласно Твоему замыслу мы сохранили священные семейные узы, не оступившись, не поддавшись слабости и не отклонившись с этого пути. От чистоты нашей крови, не замутненной ничьей чужой, появились плоды наших чресл, и

мы поверили, о Всевышний, что это путь, предназначенный нам. Мы шли вместе, осененные Твоим светом, отвергая всякое искушение, дабы не осквернить то самое драгоценное, что Ты дал нам.

Голова у меня идет кругом.

Это не просто молитвы, это исповеди. Люди обращаются к Богу. Чистота на протяжении четырех поколений… Кладбище, разные имена в семейном колумбарии и одна и та же фамилия у всех членов семьи: Уайт. Одна фамилия у людей одной крови, которые хотят сохранить чистоту. Что это означает? Кто есть кто? Кто с кем?

Я продолжаю читать:

Господи, в Твоем священном молчании на нашу общину опустилась тень. Плод нашего рода, наше возлюбленное дитя, поразил недуг. Мы всем сердцем умоляли Тебя о милости, ища в наших душах скрытые грехи, невольные проступки, которые могли бы тяготеть над всеми нами. Пусть наши родители простят нам, если в своем стремлении к чистоте мы сбились с пути, нам предназначенного. Мы услышали шепот сомнения, в

ум наш проскользнул коварный вопрос: не отклонились ли мы в нашем общем рвении от Твоего замысла? Не обернулись ли против нас чистота и данный нами священный обет? Наша плоть начала слабеть, ее сила, вопреки нашему единству, чахнет, как цветок, лишенный солнца.

Льюис — дитя, пораженное недугом. Я поглощаю текст, состоящий из молитв, заклинаний, мои руки дрожат, я прилагаю титанические усилия, чтобы не упасть в обморок.

Перед Тобой, проникающим в умы и сердца, мы осознали свою ошибку, и это осознание породило наши мучения, желание скрыться от чужих обвиняющих взглядов. Мы закрыли двери, воздвигли стены вокруг наших жилищ. Мы решили жить в уединении, чтобы возродиться заново. Явилась свежая кровь, а с ней и надежда, подаренная Твоей милостью, вновь обрести прежнюю чистоту, ту, которую мы так лелеяли и все же утратили. В этом уединении мы надеемся восстановить ее, начать наш род заново, дав новый обет праведности и искупления.

«Явилась свежая кровь, а с ней и надежда, подаренная Твоей милостью, вновь обрести прежнюю чистоту…» Я без конца прокручиваю в уме эти слова. Свежая кровь… у меня ужасное предчувствие.

> *О Ты, наше прибежище и наша сила, мы ничего от Тебя не скрываем, услышь нашу правду. Одна из нас, дорогая нашему сердцу, умерла. Мы не смогли ее уберечь, она погасла, как свеча от дуновения ветра. Господь наш, мы умоляем Тебя о прощении, признаем свое бессилие и вверяемся Твоему милосердию. Дай ей покой, а нам – искупление.*

Кто в этой книге говорит от имени общины? Кто из обитателей «Хидден-Гроув» играет роль посланника и регулярно приходит в пятый особняк, чтобы внести очередную запись? Бог в прямом эфире. Не об этом ли мне говорил Джеймс? О близости протестантов к их Богу, о том, что они не нуждаются в священнике, чтобы исповедоваться? Об отсутствии покаяния и немедленном прощении, полученном от Бога, который сам отпускает грехи?

О Господи, защити наше учение, плод Твоего Божественного вдохновения, отражение Твоей бесконечной мудрости. Оно – звезда, ведущая нас через тьмы сомнений, якорь, поддерживающий нашу веру посреди жизненных бурь. Да будет оно всегда верным Твоей воле, незыблемым, как скала под Твоим небом, неизменным и чистым, как восходящая заря.

«Наше учение»? Эти психи — ненастоящие протестанты, они извратили свою религию, чтобы оправдать собственное безумие. Это все равно что написать свое личное евангелие. Евангелие от Уайтов. И это началось четыре поколения назад… Я глазам своим не верю.

Господи, в наших душах живет смутная тревога, одна из нас нарушила священный договор, который всех нас связывал. Ее отступничество открыло брешь, через которую снова сможет проникнуть зло, подвергнув наши тела и души суровому испытанию. О Господи, защити нас от этой беды, избавь нас от мук нового испытания и даруй нам Свое прощение, чтобы мы могли снова жить в свете Твоей Бо-

жественной истины.

О каком договоре идет речь в этом отрывке? Десятки и десятки страниц исписаны одним и тем же почерком — единственный голос этой секты сбрендивших фанатиков.

Снизу доносится какой-то шум.

Я выхожу из комнаты и как можно тише проскальзываю в помещение, которое у нас в доме служит хозяйской спальней. Там я сразу бросаюсь в пустую гардеробную. Закрываю за собой раздвижные двери. Сжимаюсь в комок, сердце бешено колотится, к горлу подкатывает рвота. Я крепко зажмуриваюсь, чтобы лучше слышать. Раздаются шаги, скрип открывающейся двери, а дальше — ничего. Неужели мне послышалось? Я снова открываю глаза. Сквозь ажурную перегородку проникает свет: в комнате нет ни кровати с толстым матрасом, ни кашемирового пледа, есть только большое кресло. Я вижу металлический каркас с двумя горизонтальными подставками. Сиденье из серого пластика. Я не верю своим глазам. И однако сомнений нет: это гинекологическое кресло с двумя скобами для ног, чтобы выставлять на обозрение врачу свои половые органы. Я выбираюсь из гардеробной,

обхожу кресло и иду в ванную комнату. Там стоит тележка с медицинскими принадлежностями: я узнаю смотровое зеркало и хирургические инструменты. Внезапно комната опрокидывается, я больше не чувствую, где верх, где низ. Медленно оседаю на пол, мне нужно лечь. Вокруг меня ходит Моргана, ее спутанная грива заплетена в косы с гнилыми лианами вместо лент, она как будто только что восстала из гроба. Ирина стоит на четвереньках в моей комнате и пишет: «Я знаю, зачем я здесь»; она оборачивается и смотрит на меня: у нее пустые глаза и круглый живот, из которого тянутся наружу две маленькие ручки; входит Джеймс, его огромная тень опережает его, она овладевает мной, и на меня снова накатывает тошнота. Виржини противно хихикает, раскинувшись на диване; Эдвидж семенит по кладбищу между матерью и няней, поворачивается то к одной, то к другой и зовет их обеих: «Мама!» Холодная ярость вырывает меня из моего бреда, холодный озноб бежит по спине. Это невозможно. Невозможно, чтобы Виржини ничего не заметила. Она не могла не заметить странное поведение наших с ней хозяев. Почему она мне ничего не сказала? Почему не остановила? Гнев прибавляет мне сил, я встаю и выхожу

из комнаты. На лестничной площадке прислушиваюсь — тишина. Я бросаюсь вниз. Мне хочется бежать из этого сумасшедшего дома.

Письмо было отправлено вчера.

Сегодня Рождество. Гирлянду из лампочек, которой мы с Льюисом украшали елку, попивая горячий шоколад, снова зажгли. Теперь я никогда не бываю одна. В доме всегда есть Джеймс или Моника: на кухне, в гостиной или в кабинете. Всегда где-то рядом. И они сторожат входную дверь. Я больше не вижу сумки Моники, пульт от ворот тоже исчез. Изображаю старательную помощницу, с которой нет никаких проблем, ведь через несколько дней все закончится, и я уеду отсюда. Я думаю о родителях, обо всем, чего мне в них не хватало, об их надежности — поскольку доброты и поддержки я от них не видела, — об их скромности. Обещаю, что буду ценить жизнь с ними, буду любить ее, как никогда раньше. Я думаю обо всем, что расскажу им. Поверят ли они мне? Я спускаюсь к завтраку, с опаской думая, где именно мне придется столкнуться со своими хозяевами. Оба на кухне и предлагают позавтракать вместе с ними. Они наготовили разных сэндвичей из белого хлеба: с тарамой[51], с огурцами, с паштетом. У меня нет никакого желания оставаться с ними. Они мне противны, мне с ни-

[51] Сноски: 51

Тарама — средиземноморская закуска из подкопченной рыбьей (как правило, тресковой) икры.

ми страшно. У меня столько вопросов, которые я не могу задать! Но я не должна выходить из себя, надо набраться терпения. Беру с полки тарелку.

— Налить вам чаю? — спрашивает Моника.

Я киваю, она наливает мне чашку. Джеймс сообщает, что поговорил с Саймоном и объяснил ему простыми словами, что его брат крепко уснул, потому что очень устал, и что так для него будет лучше. Он добавляет:

— Ну вот, теперь вы знаете. Знаете, как с ним разговаривать.

Знать такое — все равно что ничего не знать, думаю я. За кого они меня принимают? Моника добавляет:

— Я бы хотела, чтобы Саймон спал в комнате Льюиса.

Мне кажется это странным, что, наверное, видно по моему лицу, потому что она поспешно добавляет:

— Комната Льюиса больше, Саймон будет доволен.

Я спрашиваю, нужно ли вынести вещи и игры Льюиса, чтобы освободить место для Саймона? Она сухо отвечает:

— Ничего не трогайте. — Затем добавляет, склонив голову набок: — Большое вам спасибо,

Эммилу!

Я в шоке… Менять малышу детскую, когда он только что потерял старшего брата? Переселять в комнату умершего? Совершенно дикая идея, разве нет? Я заканчиваю завтрак, убираю со стола и выхожу из кухни раньше моих хозяев. Поднимаюсь к себе, чтобы позаниматься. В прихожей замечаю конверт на столике рядом с неработающим телефоном. Подхожу, вижу заглавное «В» имени Виржини, узнаю свой почерк. Это письмо, которое я доверила Кристине. Ее предательство — будто удар под дых. Но тут мой взгляд задерживается на букве «В». «В» — как в тетради с бухгалтерскими записями в пятом особняке. Я пытаюсь вспомнить цифру рядом с ней. Десять тысяч фунтов? Кто заплатил Виржини десять тысяч фунтов? И за что?

Я совершенно раздавлена и инстинктивно поворачиваюсь в сторону кухни: Моника улыбается мне, поднимая чашку с чаем, словно пьет за мое здоровье. И в эту минуту я окончательно осознаю, что родители не приедут. Бегом возвращаюсь к себе, подъем по лестнице дается с трудом, я только успеваю лечь, как стены начинают кружиться; я чувствую себя жидкой, я — лужа. Мне кажется, что исчезнуть — это почти приятно. Я снова вижу

Монику с чашкой чая в руке и вспоминаю тот, что выпила я. Отравленный чай.

У меня дежавю. Я слышу голос Джона, соседа-доктора. Сколько времени я пролежала на кровати? Но на этот раз я не открою глаза, я буду слушать. Знаю, что они заставили меня выпить какой-то наркотик. Вспоминаю все чашки чая, которые получала из рук Джеймса и Моники. Пресловутый английский чай, священное английское чаепитие, чай, понемногу отнимающий у меня жизнь. Я чувствую запах Джона — этот мужской отвратительный запах пота напоминает мне о Джеймсе. Запах становится сильнее. Может, он сунул мне пальцы под нос, желая убедиться, что я еще не умерла, еще дышу? Я могла бы схватить его за горло, разодрать ему щеку, откусить ее. Но у меня есть цель — выбраться отсюда. Поэтому я дышу глубоко, ровно, как будто все еще сплю. Так мы притворялись с моей сестрой, когда хотели убедить родителей, что легли спать. Сосед нервничает, ругая Монику:

— Так нельзя! Ты не можешь пичкать ее этим как придется, это слишком сильный препарат! Что на тебя нашло?

Моника отвечает:

— Тише, ты ее разбудишь.

Джон продолжает:

— Если она спит уже три часа, значит ты пере-

усердствовала, понимаешь? — Но голос все же понижает: — Ты понимаешь, что это опасно для твоего ребенка?

И тут его шепот отдаляется, словно я падаю в колодец. Мой мозг, как хороший солдат, как первый ученик в классе, поднимает руку и спрашивает: «О каком ребенке он говорит?»

Но мое тело уже знает ответ. Моя рука лежит на уже слегка выпуклом животе. Грудь ноет. Все обретает смысл. В этом огромном безумии все обретает смысл. «Явилась свежая кровь, а с ней и надежда, подаренная Твоей милостью, вновь обрести прежнюю чистоту». Эта свежая кровь — я!

Я ношу их ребенка.

Открываю глаза. После ухода Моники и Джона я снова заснула. Это был инстинктивный, спасительный сон: я спала, чтобы не сойти с ума. Меня тошнит. Но это гораздо сильнее привычной тошноты, это как мощная волна, которая обрушивается на тело и придавливает его к земле. Отвращение. Я провалилась в ад. Я думала, что больна и устала. Но я беременна. Мне восемнадцать лет. И я беременна. Не могу в это поверить. Да, я занималась любовью в этом году… с Тристаном… он старше меня и повторно учится в выпускном классе… и он мой первый парень. Я

пытаюсь сосчитать: три раза. Мне приходится сделать усилие, чтобы вспомнить… Конечно, мы всегда пользовались презервативом. Мне хочется вырвать свой живот, колотить по нему, я хочу, чтобы он исчез. Сжимаю кулаки, закусываю губы, еле сдерживаюсь, чтобы не избить себя саму. От кого я беременна? Как это произошло? Я задаю себе вопросы, на которые уже знаю ответы — ответы, которые скользят, как слезы по щекам, как горький дождь очевидностей, свершившихся несчастий и будущего ужаса. Наркотики, Джеймс. Но почему я? К чему им еще один ребенок? Льюис — больной, мертвый. «Наша плоть начала слабеть». Еще один ребенок. Чтобы заменить его? «Мы надеемся вновь обрести прежнюю чистоту, начать наш род заново, дав новый обет праведности и искупления». Саймон занимает место Льюиса, освобождает место младшему — младшему, которого нужно родить. Но почему я? Ведь она уже рожала детей и у нее тоже есть живот!

Теперь я знаю, зачем я здесь.

Я слышу голос незнакомой девушки, с которой чувствую странную связь.

Я знаю, зачем я здесь.

Ирина, я слышу твой голос.

«Одна из нас, дорогая нашему сердцу, умерла.

Мы не смогли ее уберечь».

Значит, и ты тоже? Но где же ты?

«Она погасла, как свеча от дуновения ветра».

А твой ребенок? Где он?

С трудом встаю с кровати; мне жутко холодно, и я надеваю еще один свитер. С отвращением натягиваю его на живот. Во мне есть некто, кого я не хотела. Я боюсь его. Я больше никогда не смогу заснуть. Иду в ванную комнату. Не хочу себя видеть, мне противно, я ни в чем не виновата, но я не могу на себя смотреть, я ненавижу себя. Бедная я, бедная… Вижу свое отражение в зеркале на двери: живот выпирает так, будто вырос за последние часы, пока я спала, будто вдруг перестал себя скрывать. Он мешает мне. Я расстегиваю джинсы, спускаю их, чтобы пописать, сажусь на унитаз, чувствую, как течет моча, чувствую свое влагалище, большие и малые губы; мне кажется, что все это огромно, что оно занимает во мне все больше места и что оно грязное, невыносимо грязное. Ощущение неотвратимости — я больше никогда не буду прежней. Я самая крошечная кукла в матрешке. Беременная, закрытая в самой тесной комнатке дома, внутри резиденции, затерянной в чужом городе чужой страны.

Они окончательно заперли меня на замок.

Спускаюсь на второй этаж, туда, где находятся детские. Открываю дверь комнаты Саймона. Я должна освободить ее для их будущего ребенка. Ребенка, которого я ношу в своем животе. Как они посмели придумать такое?! Это настолько безумно, что я сомневаюсь, говорю себе, что всего этого нет, что я ошиблась. Вспоминаю Джеймса, склонившегося над кроваткой засыпающего Саймона. Он шепчет ему: «Льюис, мой маленький, я так тебя люблю». Саймон займет место Льюиса, новый ребенок займет место Саймона, и тогда все будет в порядке.

Мы закрыли двери, воздвигли стены вокруг нашего жилища. Мы решили жить в уединении, чтобы возродиться заново.

Это не безумие, это план. Сколько раз Джеймс меня… Я не могу подобрать слова. Сколько раз он… принуждал меня к сексу… Сколько раз он в меня проникал… насиловал? «Изнасиловал» — так говорят, когда это против воли или когда ты об этом не знаешь. Эти слова навсегда лишают меня наивности. Мне очень холодно; я забираюсь в кроватку Саймона, сворачиваюсь калачиком под одеялом. Как от них сбежать? Но даже если мне это удастся, я все равно останусь заложницей своей матки, того, что растет в ней. Молния пронзает

мое тело. Этот ожог, это ощущение очень хорошо мне известны — они предшествуют озарению.

Так, стоп, а сколько времени у меня нет месячных?! Я не обращала на это внимания, у меня часто случались задержки, особенно при стрессе. Помню, когда я готовилась к экзаменам на «бак», менструации не было целых три месяца. Я быстро прикидываю: вспоминаю, как в середине сентября искала в чемодане тампоны… а что с тех пор? Да ничего. Значит, уже два с половиной месяца, а может, и три, у меня нет месячных. Какая же я идиотка!

Я рожаю, это адски больно. Мне страшно смотреть на свои раздвинутые ноги. Кажется, я сейчас вытолкну свои внутренности; все горит, рвется, я вою, ору. Я нахожусь в пятом особняке, в гинекологическом кресле. Кто-то сжимает мне руку. Это поддержка? Моника здесь, но она смотрит не на меня, она не отрывает взгляда от моей промежности. Для нее я просто детородная машина, служба доставки. Врач похож на Джона, он кричит: «Есть!» И бросает мне на живот липкий, горячий, живой комок. Я не хочу ничего знать. Моника тянет меня за руку:

— Ну взгляните же! Это ваш ребенок!

Я смотрю на него и вижу лицо Джеймса. Он улыбается мне и трясет крохотными кулачками. Я теряю сознание.

Открываю глаза. Постель Саймона влажная, так сильно я потела. И, как после каждого пробуждения, на меня холодным душем обрушивается реальность: я беременна, я пленница, Виржини меня предала. Но почему? Зачем она втянула меня в этот кошмар? Не понимаю, она же подруга моей лучшей подруги Морганы. К тому же мне пришлось ее упрашивать, чтобы она связалась с этой семьей, мне даже показалось, что она хотела сохранить эту английскую мечту для себя одной.

Это же бессмысленно!

Дверь открывается.

Джеймс держит сынишку за руку, они оба приближаются ко мне. Малыш смеется, тычет в меня пальчиком и говорит:

– *Milou, Milou, bed!*[52]

Джеймс протягивает руку и помогает мне встать. Он вежливо предлагает мне принять душ, а потом подготовить комнату Льюиса для Саймона, как просила Моника. Этот псих не ведает сомнений.

---

[52] Сноски: 52
Милу, Милу, кровать! *(англ.)*

Наш первый ужин вчетвером. Нет, я ошиблась, теперь нас всегда пятеро: Саймон, Моника, Джеймс, я и их будущий ребенок. Теперь, когда я все знаю, я избегаю их взглядов. Я в растерянности. Какие беседы мы можем вести? Как мне держаться? Я не представляю, как с ними говорить. Малыш сидит рядом, я не могу устроить скандал, и это еще глубже загоняет меня в угол. Моника спрашивает:

— Вы перенесли вещи Саймона в комнату Льюиса? Там все готово для его сна?

Я думаю: «Все готово для его жизни — наверное, ты это имела в виду? Остаток его жизни в роли Льюиса? А об остатке моей жизни кто-нибудь побеспокоился?» Как она может спрашивать меня об этом с такой легкостью, в то время как ее сын умер, а я ношу ее ребенка? И как мне быть потом? Продолжать жить здесь и заботиться о новорожденном? До каких пор? Что за бред! Джеймсу, похоже, плевать на все, он изучает свои служебные бумаги, потягивая вино из бокала. Эти люди ведут себя так, будто все в порядке. У меня два выхода. Либо я немедленно опрокидываю стол и набрасываюсь на Монику, чтобы ее задушить (и именно этого мне хочется больше всего). Либо принимаю участие в их безумии, чтобы лучше

изучить их жизнь и найти способ сбежать. Я хочу сама решать, а не подчиняться, я не буду делать то, чего от меня ждут, и я гоню прочь отчаяние, мысли о своей загубленной жизни. Нет, я не дам им ни малейшего повода для беспокойства.

Сажусь за стол. Моника ставит передо мной тарелку с английским рагу. Джеймс откладывает бумаги и помогает Саймону есть. Просто идеальная семья. Если они пригласили меня сюда, чтобы я вынашивала их ребенка, значит других девушек они приглашали для вынашивания их первых детей? Удалось ли вырваться отсюда Ирине, которая бесследно исчезла? Сбежала ли она с их ребенком, если слова «Я знаю, зачем я здесь» действительно написаны ее рукой? Саймон лепечет: «Милу, Милу!» И протягивает мне кусочек хлеба. «Take, Milou!»[53] Саймон, лапочка! Саймон с его каштановыми волосами, маленький пухленький мальчик с крепкими ножками, ребенок, каких часто можно встретить в Плуэрнеке, — они или ловят крабов среди камней, или в любую погоду все дни напролет играют в футбол на стадионе, окруженном тесно стоящими домишками.

Нет, я не могу поверить, что все это происходит

---

[53] Сноски: 53
На, Милу! *(англ.)*

на самом деле.

«Саймон!» — беззвучно кричу я ему.

— Вы не едите? Может, хотите салат? Он более легкий… — спрашивает меня Моника.

Ее слова — ведро холодной воды на мои разгоряченные нервы. Я смотрю на нее безумным взглядом. Мне трудно сдерживать эмоции.

Я ошиблась.

Саймон, у тебя нет ничего общего с Митчелом. Конечно, ты сын своего отца — у тебя такая же широкая улыбка. И я узнаю форму ногтей Джеймса — мягкий овал. Я так часто держала твои ручки, так часто смотрела на очень красивые руки Джеймса. А что у тебя от твоей матери, кроме каштановых волос? Ничего. Ты не похож на свою мать, как бы ей этого ни хотелось. И она готова на все — даже покрасить твои светлые младенческие волосики. А почему? Ты знаешь?

Свежая кровь.

Родители не приедут. У меня нет возможности связаться с ними. Я их знаю — они ни о чем не беспокоятся, ведь этот отъезд был моим решением. Письма не доходят, телефон не работает, ворота не открываются; я обыскала все углы дома, порылась во всех карманах — пульта нигде нет.

Я пленница своих хозяев. Им удалось посадить меня на цепь, их младенец в моем животе; меня удерживают здесь ужас и стыд. Что со мной станет? Сколько времени это будет продолжаться? Что скажут папа и мама? Они не вынесут этого, не примут меня, я уже слышу, как они говорят: «Убирайтесь оба отсюда, ты и твой ублюдок». Это позор — для них, для меня. Могу ли я сделать аборт? Сколько в точности недель я беременна? Я не в состоянии сосчитать, календарь не удерживается у меня в голове, все плывет; я пытаюсь размотать нить прошлого, но она рвется.

Не могу заснуть. 04:46. Меня тошнит — теперь я знаю почему. Не могу спать на животе, у меня болят груди. Я свернулась калачиком в кровати и вижу нас — Моргану и меня — на пляже в Бреэке. Сейчас июнь. Зелень, окружающая бухту, насыщена хлорофиллом, от легкого ветерка хлопают паруса яхт, выстроившихся в гавани, после школы мы купаемся в одних трусиках — это не

было запланировано, но жалко упускать такой прекрасный день! Нам по семнадцать лет, и нам совершенно не хочется возвращаться домой. Море прохладное, но волны и прозрачная вода манят нас. Мы счастливы, но еще не знаем об этом. То, что у меня в животе, омрачает это воспоминание, втаптывает его в грязь. Я в ужасе, у меня нет никакой возможности выяснить хотя бы что-то о своей беременности, я не распознала ее симптомы, я никогда не говорила об этом ни с матерью, ни с подругами, я никогда не думала, что забеременею, во всяком случае в ближайшие годы, а то и десятилетие. Эта тайна сводит меня с ума, эта тайна сидит в моих внутренностях, растет сама и меняет мое тело, эта непрошеная тайна разрушает меня. Я снова делаю подсчеты, пытаюсь восстановить хронологию, чтобы понять, могу ли я сделать аборт. Восемь, девять, десять недель — до какого срока это возможно? Я никогда не интересовалась. Когда они накачивали меня наркотиком? Накануне тех дней, когда я чувствовала себя больной, жутко уставшей? Сколько раз он пользовался мной? Сколько раз проникал в меня? Мне хочется расстаться с собственным телом, вырваться из него, вырвать плоть, которая растет у меня внутри. Я схожу с

ума. И не могу сказать им, что я знаю.

В ярости спускаюсь в гостиную, открываю ящик под телевизором и достаю альбом с фотографиями; я ищу тот единственный снимок, на котором Виржини гуляет с Саймоном, а Льюис идет рядом с ними. Вырываю его из альбома и поднимаюсь к себе. Мне тяжело смотреть на это фото. Кладу его на живот и долго так лежу. Однако я пообещала себе не бояться и должна двигаться вперед. Беру фотографию и внимательно ее разглядываю, изучаю лицо Виржини, гуляющей с Саймоном. Саймон — чудесный белокурый малыш, упитанный и крепенький. Вылитый маленький бретонец. Это сразу бросается в глаза. Мне придется жить с этой невыносимой правдой и признать, что остатки моего когда-то прочного мира рушатся. Саймон — сын Виржини.

Свежая кровь.

Сбегаю с лестницы, не представляя, который теперь час. Я потеряла счет времени и несусь как сумасшедшая. В правой руке у меня шприц с наркотиком, который я украла из тайной аптечки в комнате Моники. Хозяева меня даже не разбудили. У них выходные по случаю Рождества. Наверное, я так крепко спала после бессонной ночи. Я им больше не нужна. Да я никогда и не была

им нужна для заботы о детях: малыш ходит в ясли, мать всегда дома. Их интересовал только мой живот. Я выглядываю в окно: машины Джеймса не видно, не слышен и голос Саймона. Я ищу Монику. Ее нет ни в гостиной, ни на кухне. Из кладовки доносится шум. Я редко туда наведываюсь. Там хранятся запасы консервов, алкоголя и подгузников. Это территория хозяйки дома. Я неслышно подхожу поближе. Моника в свитере из белого кашемира с круглым воротником стоит ко мне спиной и роется на верхних полках. Я втыкаю иглу ей в шею и впрыскиваю жидкость. Моника издает животный крик и оборачивается, глядя на меня безумными глазами. Она пытается ухватить то, что вонзилось в нее. Стоя передо мной, она пошатывается, ее красный рот кривится. У меня мелькает мысль: «Ага, теперь ты небось не такая ушлая!» Я оставляю ее в кладовке со шприцем в шее, скулящую, как раненый зверь. И бегу. Открываю входную дверь… снаружи нет ни соседей, ни прислуги. Мчусь налево: туда, где за деревьями виднеется каменная стена. Мне кажется, она тянется на километры. Пытаюсь взобраться на нее — мне уже нечего терять. Я быстро добираюсь до середины, но дальше стена становится слишком гладкой, мне не за что ухватиться. Вскарабкаться

выше невозможно. Осторожно спускаюсь. Делаю глубокий вдох и стараюсь сосредоточиться. Мелькают воспоминания о моем недолгом знакомстве с альпинизмом в коллеже. Никогда не смотреть вниз, смотреть вверх и думать только о цели. Камни частично выступают из своих гнезд — мне есть за что цепляться. Я почти добралась до верха, это невероятно. У меня вспышка радости, выброс адреналина, мои ноги — как два крюка, обхватывающие камень, еще никогда я не чувствовала себя такой ловкой. Изо всех сил отталкиваюсь ногами и одним броском закидываю левую руку на верх стены. Меня пронзает страшная боль, я будто лишилась конечности. Мою руку что-то проткнуло насквозь, ладонь парализовало, сотни острых зубцов впились в мою кожу, в нервы, в сухожилия… Меня словно укусило какое-то чудовище, и мое тело готово соскользнуть вниз. Через несколько секунд я повисну на одних пальцах. И моя плоть разорвется. Мне нужно освободить руку. Я вспоминаю пляж. Вспоминаю отца, который что-то мастерит рядом со мной, вспоминаю нас с Морганой, устроившихся у нее на кровати, и мать, изредка с нежностью поглядывающую на меня. Я вспоминаю всех, кого люблю, и вырываю руку из пасти.

Кровь капает мне на лоб, заливает глаза, течет по носу, затекает в рот, она очень густая. Не хочу видеть рану, которая поглощает меня целиком, я вся превратилась в одну сплошную боль. Не могу спуститься, рука не действует, и я застряла наверху. Внезапно раздается крик. Внизу у стены стоит Кристина. Ее лицо искажено ужасом. Она спрашивает:

– *Can I help?* Я могу помочь?

Я не отвечаю — нет, она ничем не может помочь. Боль парализовала меня; ноги и здоровая рука не слушаются; я падаю на землю, покрытую листьями и щебнем, который не заметила раньше. Это адская боль — основной удар приняли на себя спина и ягодицы. Кристина встает на колени рядом мной, она все в той же просторной черной одежде, как будто все время носит траур. Я так и не осмелилась спросить ее, в чем причина. Помощница Холли и Митчела осматривает мою рану и заключает:

– *It's bad, really bad*, это очень серьезно.

Я прошу ее:

— Пожалуйста, пойди домой, вызови «скорую».

Она колеблется. Тогда я кричу:

— Скажи им, что я беременна!

Ее лицо искажается.

– *Pregnant!* Я беременна от этих психов, Кристина!

Она так и стоит на коленях рядом со мной, словно придавленная к земле. Здоровой рукой я дотрагиваюсь до ее пальцев и говорю как можно мягче:

— Кристина, вызови «скорую», пожалуйста.

Это мой единственный выход. Я смотрю, как она медленно поднимается и идет к дому. Смотрю — и вижу свою мать, беременную моей младшей сестрой. Ее тонкий силуэт, отягощенный большим животом. У Кристины такие же движения. Она что, тоже беременна? Я зову ее:

— Кристина!

Я кричу:

— КРИСТИНА!

Она не оборачивается.

Я лежу на спине, по-прежнему не решаясь взглянуть на свою руку; я знаю, что она превратилась в ошметки. Не хочу видеть это, мне недостает смелости. Я мечтаю об объятиях своей матери — мать ворчливая, усталая, но всегда рядом, если мне плохо. Знала бы она, как нужна мне сейчас! Надеюсь, Кристина вызовет «скорую». Мне бы только оказаться в машине, а я уж сумею рассказать санитарам о беременности, о моих чокнутых хозяевах, о наркотиках, о фальшивых соседях, об этой общине ненормальных кровных родственников. Они защитят меня, я уверена. Это же медики, они давали клятву. Мне надо уехать раньше, чем обнаружат Монику. Я даже боюсь вообразить, на что способна эта женщина и ее родичи-«соседи». Наверное, она сейчас лежит на полу в кладовке, одуревшая, со шприцем в шее. С наркотиком в крови. Она проспит часа два или три, за это время я уберусь отсюда. Неужели Кристина тоже беременна? Да, в ее доме есть детская без всяких признаков жизни, все игрушки упакованы в пластик, но ведь ее хозяева, Митчел и Холли, — они такие славные… Нет, только не они! Митчел — веселый и внимательный сосед, открытый и дружелюбный человек… Я представляю себе, как он лежит на Кристине, насилуя ее

столько раз, сколько необходимо для зачатия ребенка. Одинаковые дома, одинаковые методы?

Я слышу вой сирены. Это сирена то ли полицейской машины, то ли «скорой». Не знаю, радоваться мне или волноваться. Вижу, как открываются ворота, звук сирены приближается.

Чей-то голос говорит:

— Эй! Эй! Сюда!

Но это не голос Кристины. За деревьями мне не видна машина, но я догадываюсь, что она въехала внутрь и остановилась. Мужской голос спрашивает:

— Это здесь? Вы нам звонили?

Обращается ли он к Кристине? Ему кто-то отвечает. Я больше не могу… мне так плохо, помогите! Шаги приближаются. Мне страшно, но я смеюсь, мне становится легче, и я мочусь прямо под себя. Подходят двое мужчин в голубых комбинезонах, я улыбаюсь им.

– *How are you, young lady?* Как вы себя чувствуете, юная леди?

Я готова расцеловать их. Готова все им рассказать. Но я удерживаю слова, которые рвутся наружу. Сначала пусть перенесут меня в свою машину, нужно выбраться из этого сумасшедшего дома. Они перекладывают меня на носилки и поднимают. Осматривают мою руку, быстро говорят о чем-то между собой, я улавливаю несколько

слов: *hand, surgery* — «рука», «операция». Еще несколько метров, и все закончится. Я вижу большую белую машину с красной полосой на боку и надписью «скорая помощь»; это кладет конец всем моим сомнениям. Однако, разворачивая носилки, санитары громко сообщают кому-то:

– *It's fine, we've got her back!* Все в порядке, мы ее забрали!

Я ищу глазами Кристину. Но за окошком «скорой» появляется другое лицо. Это Холли.

Ледяной взгляд. Я никогда ее такой не видела. Боль становится сильнее. Дверца захлопывается. Один из санитаров остался со мной, он говорит:

– *It's going to be okay*, все будет хорошо.

Я этому не верю. Жду, когда «скорая» тронется. Лицо Холли исчезает. Я с надеждой жду звука открывающихся ворот, но ничего не слышу. Машина едет медленно и как будто кружит на одном месте. Затем останавливается. Я вижу деревья и упершиеся в стекло ветки. Мы припарковались в «слепой зоне» резиденции, недалеко от стены, через которую я пыталась перелезть. Шофер открывает заднюю дверцу, забирается внутрь и говорит мне:

— Ну, теперь займемся твоей раной.

У меня щемит в груди, я плачу, как маленькая

девочка, и понимаю, что не выйду за ограду. Что они будут лечить меня здесь.

Что они оставят меня здесь.

Один санитар занимается моей изуродованной рукой. Он говорит:

— Дышите как следует, сейчас я продезинфицирую рану.

Ощущение холода парализует мои пальцы и ладонь, это такое облегчение, боль исчезает… Но уже через несколько секунд мне кажется, что моя рука горит в огне, что она поджаривается. Я вою и корчусь от боли. На меня надевают маску. «Дышите, дышите глубже». Мои глаза вдавливаются внутрь, тело переносится в параллельное пространство, где все выглядит гигантским, недосягаемым. Голоса санитаров доносятся откуда-то издалека. Я чувствую, как они теребят мою руку, копаются в ней, извлекают осколки камешков и кусочки листьев, которые попали в рану при падении. Анестезирующий газ не уменьшает боль, он только отодвигает ее, она будто парит где-то в другом месте, я никогда такого не испытывала, я больше не владею собой. Санитар снимает с меня маску и вытирает кровь с лица. Я хочу сказать им обоим: «*Please*, пожалуйста! Меня держат здесь взаперти, мучают! Увезите меня в больницу!» Но я не могу встретиться с ним взглядом, не могу ничего произнести: у меня точно вата во рту и губы онемели. Мне говорят: «Все будет в поряд-

ке. Отдыхайте». Медики прикидываются, будто ничего не понимают. Слово Холли весит больше слова Кристины. Это Холли помешала им отвезти меня в больницу. Мы подчиняемся богачам. Санитары продолжают давать рекомендации. Нужно каждый вечер дезинфицировать руку и делать перевязку. Ладонь изрезана, заживление тканей займет несколько недель. Я говорю им: «Я беременна! *I'm pregnant!*» Они не слышат.

Я поднимаю левую ногу и со всей силой пинаю одного из них. От неожиданности он ударяется головой о стенку машины. Я не хочу здесь сдохнуть. Второй тип тут же хватает меня, надевает маску на лицо, запах газа усиливается. Я не могу пошевелиться; язык отяжелел и западает внутрь. Я заперта в собственном теле.

Меня вырывают из сна руки моего хозяина. Спросонья не могу понять, чего он хочет — разбудить меня или задушить? — но внезапно все становится ясно; я чувствую, как его пальцы сжимают мою шею, слышу его искаженный яростью голос:

– *Crazy, crazy*, ненормальная!

Он трясет меня. Вся его воспитанность испарилась. Я пытаюсь говорить, но звуки не выходят из горла, он не дает мне дышать. Впервые у нас с ним такое жестокое соприкосновение, когда я нахожусь в полном сознании. И все же я предпочитаю открытую агрессию при свете дня регулярным изнасилованиям в темноте своей комнаты. Пытаюсь поймать его взгляд; он просто обезумел от гнева. Неужели он меня задушит? Но Джеймс разжимает руки и закрывает ими лицо.

— Что мы наделали? Неужели это начнется снова?

Начнется снова… О чем он говорит? Он похож на ребенка, который ждет утешения. Я застываю. И думаю только об одном: нельзя распалять его бешенство. Я не хочу умереть из-за его безумия. Джеймс снова смотрит на меня и спрашивает:

— Что ты сделала с моей женой, *freak*, идиотка? Она только что потеряла ребенка, а ты на нее

нападаешь?!

Я не верю своим ушам. Эти люди заняты только собой. Я для них — просто живот, пустое место, нищая девчонка из Франции! Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего, я вижу его сжатые челюсти, его налившиеся кровью глаза. Чувствую, как в нем снова закипает ярость, его руки снова хватают меня за шею, и тогда я говорю очень спокойно:

— Осторожно, ребенок…

Он резко разжимает пальцы. Я нашла к нему ключ. Он встает и уходит.

Неподвижно лежу на кровати и прислушиваюсь к звукам внизу. Пытаюсь уловить голосок Саймона. Кто о нем сейчас заботится? Отец разъярен, мать в отключке из-за наркотика, который я ей вколола… Я переживаю за Саймона. Почему он попал в эту семью? И кстати, к какой семье он принадлежит? К семье Джеймса или к семье Виржини? Как Виржини может жить без своего сына? Может, если тебя изнасиловали, все обстоит иначе и ты не так привязываешься к ребенку? Нет, я в это не верю. Она спрашивала меня о Саймоне, именно о нем, и просила прислать его фото. В ее словах чувствовались любовь, нежность, ощущалась очень тонкая связь, которую не может скрыть даже самая плотная почтовая бумага. Я заметила, но не придала этому значения, а просто отложила в уголок своей памяти. Однако теперь мне очевидно, что Виржини любит своего сына. Тогда почему она уехала? Чего боялась?

Я не слышу Саймона. Смотрю на будильник. 16:34 — в это время он должен быть дома. Так где же он? Кому его доверили?

Я разглядываю потолок своей комнаты, и у меня ощущение, что он сжался. Он стал меньше пола. Знаю, что такое невозможно. Однако вижу это собственными глазами: стены кверху постепенно сужаются. Замечаю, что наверху обои отклеились и ходят волнами, нарисованные звери шевелятся, словно их выпустили на волю. Над моим письменным столиком расхаживает по нарисованным джунглям гепард с ощеренной пастью, его дикая грация завораживает. Неужели они продолжают пичкать меня наркотиками? Дают мне что-то? Моя комната ожила и готова меня сожрать.

Она голодна.

Я просовываю руку между подушкой и наволочкой и достаю медицинскую карту Ирины, которую украла из кабинета Джеймса. «Irina Popescu, 19 ani»[54]. Есть также дата: 20 июня 1994 года. Я не удивляюсь, видя ее анализ крови: мне тоже пришлось его сдать, чтобы удовлетворить требования будущих хозяев. Хорошее здоровье было обязательным условием этой работы. Меня тогда ничто не насторожило. Все-таки мне предстояло заботиться о детях, Джеймс с Моникой

---

[54] Сноски: 54
«Ирина Попеску, 19 лет» *(рум.)*.

меня не знали, а это какая-никакая, но гарантия. Я просматриваю каждую строчку результатов анализа Ирины — он хоть и на румынском, но мне удается понять несколько слов:

VIH: negativ
Tată de hemoglobină: 12,1 / 13,4 / 15,1 g/dL
Teste de fer (feritină serică, saturație și transferină): 50 / 140 / 170 µg/dL
Analiza genetică pentru a identifica mutații specifice în genele globinei (gena HBB pentru beta-talasemie): negativ

ВИЧ, гемоглобин, железо… и вдруг это слово — талассемия, болезнь Льюиса, наследственная болезнь…

Теперь все ясно. Они хотели убедиться, что мы не являемся носителями дефектного гена, а значит, не можем его передать; мы физически здоровы и способны к деторождению. *Свежая кровь*. Какой кошмар! Так, значит, все дело было в этом анализе? Мне следовало его прочитать — сделать усилие и расшифровать результаты, а не бездумно выполнять требование моих потенциальных богатеньких хозяев. Да, месье, да, мадам. Это совершенно естественно, месье, все, что вам угодно, мадам. Анализ крови — разреше-

ние рожать детей для этой психованной семейки. У Ирины не было гена талассемии, она была пригодна к использованию. Но тогда что с ней случилось? Что они с ней сделали?

Внезапно дверь в мою комнату распахивается. Я инстинктивно закрываю глаза. По запаху застарелого пота узнаю Джона, доктора. Чувствую, что он подходит со стороны моей изувеченной руки. Затем прикладывает стетоскоп к моей груди. Через несколько секунд его пальцы пробегают по моему животу, ощупывая его округлость. Очевидно, он хочет убедиться, что я ничего не повредила своим падением. Как там плод? Я даже не задумывалась об этом — может, подсознательно надеялась, что удар о землю остановит жизнь, которая развивается во мне, и все закончится. Я снова вижу Джона на похоронах Льюиса — с ребенком, похожим на их девушку-прислугу; он тоже член их общины. Кем он приходится Монике? Кузеном? И тоже заставил родить себе ребенка? По тем же причинам? Не он ли носитель этой болезни? Семейной болезни? Сколько их, объединенных этой страшной тайной?

— С сегодняшнего дня вы должны лежать, из комнаты выходить нельзя.

Я открываю глаза и ошалело смотрю на Джона. Сидеть взаперти в этом склепе? Я больше не смогу отсюда выйти? Сколько недель, месяцев?

Он добавляет:

— Вы должны оставаться в постели, выходить

для вас теперь слишком опасно.

Я хватаю его за руку. Умоляю:

— Подождите! Я ничего не расскажу про Нэлу и вашу маленькую девочку. Обещаю вам! Отпустите меня!

Он отвечает равнодушным взглядом и покидает мою тюрьму, закрыв за собой дверь. Я не слышу, как он спускается по лестнице, хотя шаги у этого великана тяжелые. Зато слышу шепот за дверью. Встаю с кровати и осторожно прикладываю ухо к деревянной створке. Узнаю голос Моники, которая спрашивает:

— Так какой у меня срок?

Джон отвечает:

— Я думаю, скоро три месяца.

Три месяца — меня как будто ударили под дых. Начинаю подсчитывать… Двенадцать недель — это наверняка слишком поздно для аборта. Ох, до чего же хочется сдохнуть! Они продолжают шептаться:

— Нужно отдыхать, побольше отдыхать после падения. Плацента наверняка пострадала от удара, необходимо соблюдать осторожность.

Моника отвечает:

— Да-да, пойду отдохну. Отдохну как следует.

Замерев, я стою у двери своей камеры и едва

дышу. Эта женщина присвоила себе мою жизнь и мое тело. Я ношу ее ребенка, а беременна она! Представляю, как Моника поглаживает свой живот, наслаждается им, радуется, что должна теперь беречься. Она твердо в это верит. Она на третьем месяце беременности. Она сейчас пойдет отдыхать. У нее будет ребенок. Я всегда, вечно буду их рабыней. Ловушка захлопнулась.

В резиденции совсем нет собак. Это тем более странно, что заводить их вполне в стиле таких людей — людей с деньгами и прислугой, которая все за них делает, оставляя им время для приятной возни с животными. Однако здесь собака мне не встретилась ни разу. Поэтому, услышав лай, я не верю своим ушам. Это не тявканье, а злобный рык, исходящий из широкой, сильной глотки и заставляющий вибрировать челюсть настоящего хищника, охотника. Лай приближается, становится оглушительным — такой шум, думаю я, обязательно должен спровоцировать какую-нибудь вспышку. Я уверена: сейчас что-то произойдет. Я уже три дня лежу в постели, а Джеймс приносит мне еду и стоит на страже у двери моей комнаты. Похоже, он больше не работает. Я схожу с ума от страха. Не представляю для себя иного выхода, кроме как выброситься из окна. Я не видела Монику с тех пор, как на нее напала; наверное, она боится или меня, или реальности. Беременна-то я, а не она. Да, именно так: она непременно должна бояться; ей ведь надо играть беременную женщину в своем красивом доме, где все в белых и бежевых тонах — успокаивающих, беззаботных и столь любимых богачами. Она, конечно, сейчас разлеглась на диване и, слегка

задыхаясь, держится за поясницу, представляя, как она родит ребенка. Я вспоминаю фото, где она кокетливо позирует с младенцем на руках. С Саймоном, которого она никогда не рожала, который не рос у нее в животе. Я вспоминаю ее болтовню о выборе имени — ах, она во время беременности заслушивалась дуэтом Саймона и Гарфанкела! Каких только историй она о себе не рассказывала! Но я теперь вижу испуганную Виржини с огромным животом, лежащую в нашей с ней комнате. Хозяйка не спеша пьет чай в своей бежевой кухне, наслаждаясь «The Sound of Silence»[55]. Сейчас полдень, и я уже знаю, что скоро появится поднос с едой. Сэндвич с огурцом, йогурт с клубникой или абрикосом — и давиться нечем, и насладиться нельзя.

На моем этаже происходит какое-то движение: кто-то сбегает по лестнице. Снаружи снова раздается собачий лай. Он доносится из сада. Я встаю и вижу в окно здорового зверя с морщинистой коричневой кожей, настоящего мастодонта. В жизни не видала такой собаки. Она принюхивается к земле и что-то ищет. То ли поиграть хочет,

[55] Сноски: 55

«Звуки тишины» *(англ.)* — одна из самых популярных песен Саймона и Гарфанкела, баллада, выходившая синглом и включенная в их дебютный альбом «Wednesday Morning, 3 A. M.» (1964).

то ли проголодалась… Я в этом не разбираюсь, у меня никогда не было домашнего питомца. У моих родителей не хватило бы на него времени. Это зрелище меня успокаивает. Я смотрю на толстого пса, который бегает по клумбам. Он давит цветочные ростки и красивые маленькие кустики. Такое безобразие меня только радует: наконец-то в этот слишком ухоженный сад вторгается жизнь. Я вижу Монику, которая пытается прогнать зверя, носясь за ним с криком:

– *Go, go away* — вон, пошел отсюда!

Джеймс присоединяется к ней и в панике спрашивает:

— Откуда он взялся?

Сцена уморительная: ведь это всего лишь собака! Они оба в саду, и меня никто не сторожит. Внизу звонят. Открыть дверь некому. Я тихонько спускаюсь с лестницы. Смотрю в глазок и вижу Кристину. С Саймоном на руках. Удивленная, я открываю дверь. Помощница Митчела и Холли делает шаг назад — она не ожидала меня увидеть. Я не даю ей заговорить и умоляю:

— Позвони моим родителям!

Пишу на стикере номер 02 99 42 88 08 и протягиваю ей. Она говорит безжизненным голосом:

— Ирина в саду.

Я не понимаю. В саду только собака и мои хозяева, которые бегают за ней. Там нет никакой Ирины. Кристина опускает Саймона на пол и слегка задирает свой широкий черный свитер. Под ним виден круглый живот. Она оборачивается.

Моника фурией врывается в гостиную через застекленную дверь сада. Похоже, она совсем не думает об отдыхе. Может, забыла, что «беременна»? Она проносится через весь дом, направляясь к входной двери. На ней лица нет от волнения. Стремительно, словно не заметив, она минует нас троих и, остановившись на пороге, несколько раз повторяет:

— Чья эта собака?!

Мужской голос отвечает:

— Моя. *Come on, Ruster, come on!* Ко мне, Растер, ко мне!

Моника разворачивается и уходит в дом. Она в ярости. За ее спиной я вижу, как хозяин наклоняется к своей собаке и что-то выхватывает у нее из пасти. Клочок бумаги, веточку? Он бросает это на клумбу и затаскивает пса в свой фургончик с надписью «The Joy of Gardening»[56]. Саймон бежит к Монике. Я пользуюсь этими

---

[56] Сноски: 56

«Радости садоводства» *(англ.).*

несколькими секундами неожиданной свободы и торопливо подбираю то, что нашла собака. Это обрывок плотной ткани, клочок толстовки бордового цвета размером с мою ладонь; я кладу его в карман пижамы. Затем быстро возвращаюсь в дом и поднимаюсь к себе в комнату. Закрываю дверь, сажусь на кровать и достаю свою находку. Подношу ее к носу. И резко отшатываюсь: от ткани исходит отвратительная вонь. Это запах прогорклого масла, от которого меня начинает тошнить. Мне кажется, я догадываюсь, что это за вонь. Пахнет, как у моей бабушки: у нее не было холодильника, и потому она оставляла еду на кухонном столе. Каждый вечер прилетали мухи, чтобы поужинать вместе с нами, и это отравляло мне все летние каникулы. Невыносимо.

Пахнет гниющим мясом.

«Ирина в саду».

Я бегу в туалет, меня рвет. Картина перед глазами и смрад так сильны, что моя голова со всего размаху ударяется о фаянс.

Я закончу свою жизнь в садовой земле, как Ирина. Так здесь поступают с бунтарями. У разумных и благовоспитанных матерей ребенка забирают, а их самих отправляют обратно во Францию, предварительно заперев им рот на замок: «Ты будешь молчать, или…» Или что? Все расскажу о тебе, испорчу тебе репутацию? За свою жизнь я не дала бы ни сантима. Они подождут, когда ребенок вырастет у меня в животе, а после родов просто выбросят меня. Я схожу с ума, эти люди — самые страшные психопаты, с какими я когда-либо сталкивалась в жизни или в книгах, рассказать — никто не поверит. Я думаю о беременной Кристине. Понимаю ужас ее ситуации: Митчел и Холли выписали к себе няню заранее, когда ребенка еще не было. Ей предстояло родить им его, чтобы они смогли заполнить пустую комнату. Митчел — сволочь! Холли — подлая баба! Никто не принес мне поесть сегодня, я чувствую слабость, напряжение выматывает меня, ужас разъедает изнутри. Орган за органом. Силы стремительно уходят. Не знаю, способна ли я встать с кровати. Но мне надо сматываться, другого выхода нет.

Ко мне приходила Моргана. Я лежала, уткнувшись в подушку. Почувствовала шелковистость ее волнистых волос, узнала их запах. Узнала меланхоличный тембр ее голоса. Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать ее. Я уловила слово «суицид». Это слово легко прошептать, оно легко соскальзывает с губ с его «с» и «и» — зловещая мелодия звуков. Она повторяла его снова и снова — слово, которое мы с ней никогда не произносили. Невыносимое слово. Зачем она говорила мне о своей смерти? Я не хотела о ней слышать, это обостряет мое одиночество, опустошает меня. Моргана никогда не жаловалась, никогда не зацикливалась на своих бедах. И внезапно я поняла, что она указала мне выход. Вот же он — самоубийство! Мне нужно шантажировать их моей смертью. Если я пригрожу убить себя вместе с ребенком, они обязательно отреагируют. Вот что ты шептала мне, Моргана.

Похоже, они меня опередили — теперь мне приносят еду только через раз. Я уже не знаю, сколько часов или дней я сплю. Это немыслимо, неужто они хотят убить своего ребенка? В чем их цель — наказать меня, сломить, лишить сил? Лежа на кровати, я разглядываю обои: они сильно покоробились, края висят, как ветки деревьев в диких джунглях, образуя надо мной душную арку. Все звери с узорчатой шкурой — змеи, пантеры, шимпанзе, крокодилы, леопарды — проснулись и направляются ко мне. Это падальщики, привлеченные запахом мертвечины. Они хотят лизнуть мою кожу, попробовать на вкус мой страх? Комната стала еще меньше, чем вчера, мне трудно дышать в этой духоте, и лоскут, сорванный собакой с тела Ирины, воняет еще сильнее. «Ирина в саду». Похоже на примитивную фразу из учебника английского в начальной школе. *Where is Irina? Irina is in the garden*[57]. Я снова вижу себя в первом классе коллежа в Плуэрнеке. Середина лета, учебный год близится к концу, очень жаркий для Бретани июльский день. Окно в классе открыто. Я вся взмокла от урока английского.

---

[57] Сноски: 57
Где Ирина? Ирина в саду *(англ.)*.

Where is Bob? Bob is in the kitchen![58] Шум города, ветер в кронах деревьев, шелест листьев. Меня притягивает пустота.

[58] Сноски: 58
Где Боб? Боб на кухне! *(англ.)*

Раздается крик. Я сижу на подоконнике в своей комнате, свесив ноги наружу. Три этажа над террасой. Это голос Моники. Рев, рвущийся из ее нутра, обдирающий все ее органы, наполненный скопившимися в ней гневом и ненавистью. Я даже не могу обернуться — такой вялой и безвольной себя чувствую. Это действие наркотика? Еда — они что-то подсыпают мне в еду. Они думают, что будут держать меня, как овощ в маленькой теплице, полуживой-полумертвой, только чтобы их последыш мог получать питание и расти. Совершенно не помню, как я открыла окно и села на подоконник, у меня дико кружится голова.

Самоубийство. Совет моей подруги — моя единственная помощь. К счастью, у меня есть ты, Моргана. Мне нужно проснуться. Именно сейчас все произойдет. Я должна напугать их до смерти, чтобы они боялись потерять своего ребенка. Собрав последние остатки сознания, исхитряюсь мысленно дать себе пинок под зад. Черт! Соберись, сейчас же! Я, как в замедленной съемке, поднимаю одну ногу и ставлю ее на внешний откос подоконника… встаю во весь рост, здоровой рукой цепляюсь за стену и нависаю над темным садом. У меня за спиной раздается вопль Моники:

– NO! NO!

Она поняла. Я крепко держусь, чтобы не упасть; я знаю, что сила ее криков может свалить меня вниз. Не хочу умирать. Я все еще могу спастись. Глубоко дышу и концентрируюсь. Крепко держусь, мне нужно их просто как следует напугать. Моника зовет мужа:

— Джеймс, она сейчас выбросится из окна!

Слышу, как она произносит слово «самоубийство» по-английски: «сюиса-айд». Это звучит греховнее и страшнее, чем по-французски. Каждый слог — еще один шаг к ужасной смерти. Моника добавляет:

— Я этого не вынесу, только не сейчас!

Джеймс отвечает:

– I know, darling, я знаю.

Только не сейчас?

Я чувствую спиной движение воздуха. Это Джеймс вошел в комнату. Моника рядом с ним. Я чувствую их обоих, пространство вокруг меня заполнено их страхом.

Объявляю им:

— Я сейчас спрыгну, и все будет кончено.

Моника шепчет Джеймсу:

— Давай поговори с ней, черт возьми, *damn it*!

Джеймс приближается и произносит, добавив

голосу спокойствия и глубины:

– *Emmylou, go down!* Вы должны слезть с окна.

— Если вы не отпустите меня домой, я найду способ убить себя.

Джеймс обращается к Монике:

— Рано или поздно она наложит на себя руки, ей нужно вернуться домой.

— С моим ребенком?!

Моника не может в это поверить. Какое оскорбление!

– *Never!*[59]

Она осыпает Джеймса ударами и кричит:

– *I hate you!* Ненавижу тебя!

Я повторяю, наклонившись над пустотой:

— Я спрыгну, я больше не могу, я спрыгну, я больше не могу…

Я полна решимости. И почти не играю: я так измучена, что самоубийство кажется мне лучшим выходом. Оно будет не больнее всего того, через что мне здесь пришлось пройти. Думаю о смерти как о вполне возможном конце. Это роскошь — иметь возможность самой написать последнюю главу своей жизни. Опыт человека, доведенного до крайности и делающего выбор.

---

[59] Сноски: 59
Никогда! *(англ.)*

Джеймс умоляет меня:

— Пожалуйста, не двигайтесь! Я помогу вам спуститься. Внимание! Я подхожу. Позвольте мне это сделать.

Они думают, что спасли своего ребенка, а я думаю, что спаслась сама. Мы все выиграли, ведь так? В тот момент, когда я ставлю ногу на кровать, Моника поднимает руку. Я не успеваю посмотреть, что она держит, но чувствую острую, сильную боль — как от занозы, которая мучила меня неделями, вонзаясь то тут, то там, терзая мое тело. Сейчас она прошла через шею. И что-то мне порвала.

В полной тишине волны накатывают на белый песок, а затем, когда море отступает, слышна песня тысячи маленьких камушков, которые оно уносит в свое чрево. Это его сокровище, его пища. Движение бесконечно, оно убаюкивает. Мне хорошо, я плыву, я — морская вода, я — мириады песчинок, я — дождь, который проливается на землю, я — солнце, пробивающее себе путь сквозь тучи. Все это я. Крики. Я очень большая, я огромная, никто не может меня схватить, я царю над всем. Я — природа, я — жизнь, я — весь мир. Вопли. Черное небо. Градины играют другую музыку, невпопад. Мне очень холодно. Я совсем маленькая, я обхватываю себя руками. Дрожу. Слышу скрежет мебели по полу. Внизу как будто кто-то дерется? Я прилагаю неимоверные усилия, чтобы выйти из летаргии, пытаюсь напрячь мышцы. Я хочу знать. Но мои веки опять слипаются, рот слишком вялый, и мысли вновь обращаются к побережью.

Открываю глаза. Не вижу ни обоев с дикими зверями, ни окна. Не вижу ничего. Вокруг меня тьма. Не знаю, где я. Звуков не слышно. Впечатление, будто я нахожусь на дне колодца. Чувствую зверский голод. У меня словно дыра в желудке, куда я могу провалиться вся, без остатка.

Холод внизу подсказывает мне, что подо мной голая земля. Сколько времени я пролежала на ней? Где я?

Вытягиваю руки вперед, чтобы нащупать стену, какой-нибудь ориентир. Левую руку пронзает адская боль. Я вспоминаю ограду, зубья, разорвавшие мою плоть. Сколько дней мою рану не дезинфицировали? Не меняли повязку? Сколько она уже гноится? Я нюхаю руку. Она пахнет Ириной. Я гнию заживо. Заставляю себя сделать несколько микроскопических движений, только чтобы почувствовать свое тело. Я открываю-закрываю рот, облизываю нижнюю губу; у нее горьковатый, металлический привкус крови. Здоровой рукой я трогаю ее — она мокрая на ощупь. Как и лоб. Мои пальцы с опаской ощупывают голову и проваливаются в щель: у меня в черепе дыра. Боль, которая таилась несколько часов, вырывается на свободу во всей своей злобе. Я вся в крови, она повсюду. Да что же они со мной

сделали?!

Мои пальцы скользят по шее… я нащупываю какой-то плотный комок под кожей. Снова чувствую, как на меня обрушивается рука Моники. А дальше — провал. Удар ножом, инъекция? Потом я, должно быть, ударилась головой. Она — мать ребенка, которого я ношу, но ее ничто не останавливает.

Инстинктивно кладу руку на живот, но я далека от мысли «ах, мой ребенок». Я его никогда не хотела и никогда не захочу! Крупные слезы катятся по моим щекам, но они не приносят облегчения, а прожигают кожу, как раскаленный гравий. Я не знаю, каково это — иметь ребенка, и не хочу этого знать. Черт возьми, да где же я?

Сажусь, опираясь на раненую руку. Она отвечает мне взрывом боли. Прижимаю пальцы ко рту и чувствую зловоние прогорклого масла, гноя, крови и плесени. Моя незалеченная рана. Я гнию. У меня ломит все тело. С трудом встаю… Покачиваюсь… вот-вот упаду. Вытягиваю здоровую руку перед собой и иду вперед. Ищу опору. На восьмом шаге мой средний палец упирается в твердую поверхность. Миг облегчения посреди паники. Я опираюсь ладонью о стену, потом прислоняюсь к ней спиной. Глубоко дышу, чтобы успокоиться.

Где они меня заперли? Прижимаю ухо к стене. Ни звука. Меня полностью изолировали? Не представляла, что можно быть еще более одинокой, чем в эти последние четыре месяца. В темноте я не вижу двери. У меня ощущение, что я погребена заживо. Запах плесени наводит на мысль о подвале. Я боюсь того, что могу обнаружить среди этих ледяных стен. Я боюсь замерзнуть, и этот страх хуже самого холода. Я хочу держаться у стены, прижимаясь к бетону, пока кто-нибудь не придет за мной и не успокоит, я буду послушной, обещаю, только выведите меня на свет! Я притворюсь, что все хорошо.

Но я знаю, что этого не будет, что все изменилось.

Решаюсь сделать еще несколько шажков. Это прыжок в пустоту, у меня нет никакого ощущения пространства, я боюсь упасть, ушибиться, боюсь своего страха. Мне кажется, что я делаю гигантские шаги, а на самом деле преодолеваю всего несколько сантиметров. Внезапно кончики пальцев что-то задевают, и рука начинает дрожать. Это другая кожа. Конечно, они узнают друг друга. Эта кожа — холодная и мягкая. Из моего горла вырывается крик — безумный, хриплый. Чужая кожа не реагирует. Я отступаю назад. Я

больше не смею ни шевелить пальцами, ни протягивать руку. Здесь лежит тело, лежит труп.

Кромешная тьма, в которую я погружена, усиливает мой ужас, измученное сознание рисует лица, силуэты, я представляю себе девушек, которых видела в резиденции. Дори? Нэла? Что они с вами сделали? Но тут я чувствую едва уловимое тепло. Двигаю правой рукой, чтобы определить, откуда оно исходит. Мои пальцы снова касаются чьей-то кожи. Но это не мертвая кожа — она живая, она дышит.

— Кто это? — слышится слабый голос.

Я не узнаю его. И отвечаю:

— Эммилу.

Молчание, а потом:

— Эммилу, ты здесь, у тебя…

Звуки невнятные, я почти ничего не разбираю в этой каше. Выжидаю, даю возможность произнести еще что-нибудь.

— Где мы? Что это за…

Звуки становятся яснее. Нет, это невозможно. Как она здесь очутилась? Я не верю своим ушам, и однако этот голос… Сажусь на землю, чтобы не упасть. Мне надо успокоиться. Мне надо подумать, собраться с мыслями. Что она тут делает? Я не осмеливаюсь ее спросить. Лучше не знать. Меня раздирают любопытство и ярость.

— Виржини, это ты?

Долгое молчание, затем:

— Да.

Я едва слышу ее ответ. Мне хочется колошматить ее, трясти, хочется кричать. Тьма и тишина — это невыносимо. Так можно сойти с ума. С трудом встаю, шатаясь от слабости, но гнев подстегивает меня. Я пытаюсь схватить ее. Да где же она, черт побери?! Мои руки шарят в пустоте. Коленом я ударяюсь о какую-то мебель, но боль

только усиливает ярость. Наконец я хватаю Виржини за ногу; кажется, она лежит на скамейке, о которую я споткнулась.

Она вяло спрашивает:

— Что… что ты делаешь?

Теперь я сориентировалась: провожу руками по ее телу и вцепляюсь в плечи. Это она виновата, эта сука! Я прижимаюсь лицом к ее лицу. Чувствую кровь, я вся в крови. Вытираю кровь о ее лицо, мажу ее кровью, размазываю ее слезы. Горячее липкое месиво на наших щеках. Я задыхаюсь от ярости. Она не сопротивляется, я трясу ее, она снова падает на скамейку. Как мешок. Не знаю, больно ли ей, — думаю, ее чем-то накачали.

— Ты знала, что они со мной сделают? Ты это знала?!

Она не отвечает.

Я парю в темноте. Ощущение невесомости. Все чувства на пределе. Мое тело ничего не весит. Отсутствие зрения обостряет мое обоняние. Тут пахнет ветошью и аммиаком. Не знаю, есть ли связь между этими запахами, но они появились, когда я сдвинула ноги вместе. Резкий, кислый запах… Проклятье, это же моча! Я провожу рукой между ляжками, подношу ее к носу. Я описалась. Сколько времени мне пришлось здесь гнить?

К запаху кислятины добавляется запах пыли. Затхлая вонь земли, плесени, мокрой древесины, воска. Может, от погасших свечей. Я хочу обследовать помещение, но меня накрывает приступ тошноты. Я цепляюсь за ледяную стену и закидываю голову назад, чтобы сдержать рвоту. Пытаюсь уловить малейшее дуновение воздуха. Только не блевать. Не добавлять зловония.

— Виржини! Зачем ты меня сюда послала?

Нет ответа.

Спит она, что ли? Или стыдится своего идиотизма?

Я бешеная собака, которая не хочет упускать свою жертву. Последние четыре месяца я из кожи вон лезла, чтобы получить хотя бы чуточку одобрения, и вынесла немало унижений. Так что теперь мне нужно отвести душу.

— Ты уехала, бросила здесь своего ребенка и предложила на свое место меня? Для чего? Что ты выиграла? Ты написала, что ждешь от меня новостей о ребенке и его фотографию. «Смотри не проболтайся Монике, Джеймсу или детям, что это я тебе пишу. Помни: мы с тобой незнакомы!» Здорово же ты меня подставила!

Ее лицо всего в нескольких сантиметрах от меня, и я плюю в него: чувство собственного

достоинства — это сейчас не про меня. Я слышу только ее дыхание. И движения: она вытягивает ноги, трет лицо, стонет, как будто ее всю исколотили. Проклятье, от этой темноты я сойду с ума!

— Я не собираюсь ждать, пока кто-нибудь за нами придет.

Сейчас я говорю сама с собой. Шарю руками внизу, у пола. Виржини не реагирует, она снова в отключке. Провожу рукой по стене: этот легкий запах мокрой древесины должен проникать сюда откуда-то! Я никогда не встречалась с этим запахом в хозяйском доме: там все было чисто, сухо и гладко. Принюхиваюсь к стене, обследую каждый сантиметр своей тюрьмы. Мои пальцы натыкаются на какой-то выступ. Осторожно ощупываю его, обвожу контур. И вижу ясно, как при свете дня: это крест. Не может быть: крест в подвале? Снова провожу по нему указательным пальцем: может, я ошиблась? Но сомнений нет: это точно крест. Я не знаю, что и думать. Значит, они и в подвале молятся?

Виржини нарушает молчание. Голос у нее тонкий, слабый:

— Он заботился обо мне…

— Что?

— Он заботился обо мне…

— Ты о чем вообще? О ком ты говоришь?

— Мы вместе смотрели фильмы. Впервые ко мне относились так по-доброму.

Она замолкает. Наверное, еще не отошла от наркотиков. Видно, что не привыкла! Я-то прихожу в себя быстрее. Невольно усмехаюсь. Нахожу плюсы, где только могу. Пытаюсь понять. Фильмы… внимание… Джеймс!

— Я была влюблена. А этого она не вынесла.

Я стараюсь восстановить историю: Джеймс заботится о Виржини, Виржини влюбляется. И они делают ребенка? Какой-то бред…

— Ты что, спала с ним? По собственному желанию?

Я отошла от стены и стою, хотя и с трудом, на ногах, готовая к битве. Говоря, я энергично помогаю себе руками.

— Да.

На этом коротеньком слове ее голос дает трещину. Виржини разражается слезами. Может, она больше не будет бояться и позволит себе говорить, чтобы вырваться из своей тюрьмы, в которую, как ей кажется, она заперла себя сама? Но она ошибается. Ее заманили туда, воспользовавшись ее наивностью и влюбчивостью.

— Ты спала с ним? Но… ты что, не боялась за-

беременеть?

Виржини продолжает всхлипывать — я слышу тихие звуки, которые издают ее рот и нос. Она трет глаза. В тишине каждый звук отчетливее.

— Конечно, еще как боялась. Но Джеймс сказал, что риска нет.

— И ты поверила?

Она не отвечает на вопрос, а продолжает рассказывать. Теперь, когда шлюзы открыты, ее не остановить.

— А потом у меня прекратились месячные. Они вызвали доктора, и он сделал мне анализ крови. Оказалось, я беременна. Они сказали: для аборта уже слишком поздно, ребенка надо оставить.

Мне словно врезали кулаком под ложечку. Я глубоко дышу, чтобы не задохнуться от удара. Сосредотачиваюсь, обдумываю ее слова, верчу их в уме так и эдак и убеждаюсь, что все поняла правильно. Этот подонок сделал ей ребенка — она влюбилась, и он ее использовал.

— Моника была вроде даже довольна моей беременностью. Я не знала, что и думать, я ужасно растерялась. Просила не прогонять меня, предлагала помогать с ребенком. Клялась, что с Джеймсом все кончено.

— Вряд ли этой ведьме могло понравиться твое

предложение!

— Да, Моника была в ярости! Я умоляла ее. Но она больше не желала меня видеть.

Бедная девочка. Я начинаю понимать. Хотелось бы, чтобы это принесло облегчение, но чем больше я понимаю, тем сильнее невидимые тиски сдавливают мне голову. В висках пульсирует боль. Я заставляю себя подойти к Виржини. Жалости к ней я не чувствую, но мне необходимо ее присутствие: пустота, тьма, головокружение — все это для меня чересчур. Я касаюсь скамейки, на которой она лежит. Эта скамейка напоминает мне ту, что стоит в молельной комнате в доме моих хозяев. Провожу по ней руками, трогаю ногу Виржини, — оказывается, та уже не лежит, а сидит.

— Что ты ищешь? — спрашивает она.

— Библию.

— Библию?

Я не отвечаю. Молча встаю на колени и обшариваю землю вокруг. Нашла. Огромный том. Нащупав переплет, узнаю его потертую кожу, сетку прожилок. В темноте подвала это еще ужаснее и тошнотворнее. Я чувствую дыхание Виржини и ее запах. Пахнет ванильным дезодорантом, дешевой парфюмерией старшеклассниц. Ненавижу

ваниль. Она чересчур сладкая, приторная.

— Тебе дали денег, чтобы ты сюда не возвращалась?

— Что?

— Десять тысяч — это тебе говорит что-нибудь? Они заплатили тебе, чтобы ты оставила им Саймона?

— Откуда ты знаешь?

— Они платят тебе каждый год?

Она не отвечает.

— Я видела суммы в бухгалтерской книге, в пятом доме.

Молчание.

— В пятом доме!

Да, думаю я, в том самом, где ты родила Саймона. Но вслух этого не говорю.

— Десять тысяч в год, чтобы бросить своего сына и найти им новую девушку… Это для тебя большие деньги?

Я чувствую ее замешательство. И не спешу, пусть потомится. Это моя маленькая месть.

— Почему именно я? Объясни.

Чем ближе я к правде, тем упорнее она молчит. Здоровой рукой я щиплю ее за ногу.

— Ну, отвечай!

— Ты делаешь мне больно!

— Я этого и хотела. Отвечай, Виржини.

— Монике нужна была еще одна француженка, чтобы Саймон говорил по-французски. И она хотела, чтобы это была приличная девушка с хорошим здоровьем, но оказавшаяся в полном дерьме.

Я стою как громом пораженная: приличная девушка с хорошим здоровьем, но оказавшаяся в полном дерьме! Да уж, точнее и не скажешь.

Из одного дерьма в другое.

У меня раскалывается голова. Боль давит на глаза. Я стараюсь держать их открытыми, хотя прекрасно понимаю, что это бесполезно, открытые или закрытые — в темноте все равно ничего не увидишь. Я снова прислоняюсь к ледяной стене. Уже знакомые запахи окружают меня густым облаком: плесень, ваниль, моча, мокрое дерево, воск, засохшая кровь. От этой вонючей мешанины желудок словно выворачивает наизнанку. Голод. Да, вот причина. Я не сразу это осознала. Я так голодна, что мне больно. Как будто мое тело выпило через соломинку все, что было у меня в желудке, и продолжает всасывать мои внутренности. Сколько дней мы здесь заперты?

— Виржини, ты знаешь, кто эти люди? Чем они здесь занимаются? Ты знаешь, что эти чертовы психи — одна семья, что они уже четвертое поколение плодятся через кровосмесительные браки? И все это во имя чего? Во имя чистоты. Чистоты рода, Божьего замысла. Они протестанты, но они извратили веру и даже написали собственное евангелие, чтобы узаконить свое безумие. Они всё исказили, их кредо — за наши поступки мы отвечаем только перед Богом! Любовь прощает все, верит всему, уповает на все, претерпевает все. Так написано в их Библии; этим руководству-

ются, это повторяют и заучивают наизусть все члены клана. Даже Льюиса заставляли глотать этот бред. Он не хотел, чтобы я читала Библию вместе с ним, — ну еще бы, ясное дело, ему запретили. Но в конце концов кровосмешение стало разрушать здоровье их потомков. Понимаешь?

Молчание Виржини сводит меня с ума. Слова хлещут у меня из горла грязным потоком. Резкий вкус рвоты пополам с желчью. Я уже не могу остановиться:

— Джеймс и Моника, кто они друг другу — кузены? В любом случае у них в жилах уже сто пятьдесят лет течет одна и та же кровь, не разбавленная свежей, а это чревато вырождением! Взять хоть болезнь Льюиса. Ведь это доказательство их исходной вины, начало вырождения! Знаешь, во что эти родители заставили его поверить? Что он переходное, эфемерное существо. «Это твое предназначение, твоя миссия на земле, прими ее. И уступи место брату». Однако от его болезни есть лекарство, я видела рецепт в кабинете Джеймса, но они его не лечили, потому что надо было очистить род, начать все с нуля. Подонки! Он умер из-за помешательства своей семьи, и никто не попросил у него прощения! Никто, Виржини!

Я даже не слышу ее дыхания. Такой доверчивой дурехе, без сомнения, тяжело переварить мой рассказ.

— Виржини, ты не поняла, что в этом и был их план! В том, чтобы ты согласилась уехать, оставить ребенка, закрыть рот на замок в обмен на толстую пачку денег и найти для них другую девушку! Просто с тобой все прошло иначе — ты сама увлеклась Джеймсом, и ему не было нужды глушить тебя наркотиком и насиловать. Очень удобно. Но ты оказалась неспособна посмотреть чуть дальше своего носа. Ты не замечала других таких же девушек, в чьих жилах текла свежая кровь, нужная, чтобы насытить старую кислородом, чтобы очистить ее, испорченную за полтора века, от одинаковых, уже отыгравших свое генов. Ты не замечала всех этих девочек, которых набирали из разных стран: из Словакии, Ирландии, Литвы, Румынии, Франции… Изолированных друг от друга, беззащитных девчонок, у чьих родителей не было средств или возможностей их защитить. Девочек, которых нужно было оплодотворить, сделать им ребенка. Нормальных девочек, таких как я. Ты ничего не поняла. Не поняла, что соседи — не просто соседи, а кузены, кузины, братья и сестры, с одними и теми же

без конца повторяющимися генами; это община, связанная одной тайной, как круговой порукой. Как ты могла не заметить их противоестественное сходство — в лицах, жестах?.. Ты знаешь, кто такая Ирина?

Она не отвечает. Странно разговаривать в темноте, не видя собеседника.

— Ирина — это та девушка, что приехала после тебя и до меня. Я уверена, что она покончила с собой, когда обнаружила, что беременна и не может сбежать из резиденции. Ее родители до сих пор ее ищут, они румыны и все еще не знают, что с ней. Не знают, что она закопана в саду этой богатой английской семьи, которой они доверили своего ребенка. Не знают, что уже шесть месяцев дети, соседи топчут разлагающееся тело их дочери. Если бы ты все рассказала, если бы не согласилась на их условия… она была бы жива. И ее ребенок тоже. Мне повезло больше.

Молчание Виржини разжигает мой гнев. Подхожу ближе — мне нужно ее почувствовать, дотронуться до нее. Хватаю ее за волосы, тяну их изо всех сил к себе, я хочу, чтобы она реагировала, кричала, умоляла, просила прощения за свою несусветную глупость и убожество. Она не сопротивляется. Я прижимаю ее к стене. И говорю ей:

— Знаешь, почему мне повезло?

Она бормочет:

— Нет.

От нее веет паникой, и я этим наслаждаюсь.

— Мне повезло, потому что, несмотря ни на что, я жива.

Отпускаю ее. Пытаюсь немного успокоиться: дышу, дышу, опустив руки.

Виржини наконец подает голос:

— А ты… он тебя… он… — Язык ее не слушается. — Он что, не тронул тебя?

На последних звуках ее голос замирает. Я не могу ей ответить. Сказать, что я беременна. Если бы я призналась, это придало бы реальности моему кошмару. Я хочу пить. У меня пересохли губы, язык похож на наждак. Мне трудно глотать, ощущение такое, будто рот выжат насухо, в нем совсем нет слюны. Сколько времени я не пила? И сколько можно прожить без воды? Мне нужно молчать. Экономить влагу. Только один вопрос:

— Что ты здесь делаешь, Виржини? Зачем ты вернулась?

Она вырывается, бьет меня по голове, по рукам, по спине. Я хватаю ее за лицо и сжимаю ей рот, как будто хочу его оторвать. Тогда она, чтобы высвободиться, толкает меня кулаком в грудь.

Резкая боль… я на мгновение отпускаю ее. Но тут же набрасываюсь на нее снова. Прижимаю изо всех сил к стене. Она говорит:

— Я вернулась не из-за тебя, а из-за Саймона.

Я закрыла глаза, опустилась на корточки и уперлась ладонями в землю. Не знаю, спала я или бредила. Это длилось долго. Я была и здесь, и где-то еще.

Встаю, опять прислоняюсь к стене. Никто не приходит. Неужели они оставят нас здесь подыхать? Таков их план? Гнев больше не будоражит, мое тело остыло, я пытаюсь согреть руки дыханием. Изо рта выбивается слабая струйка теплого воздуха, губы дрожат, они потрескались, им нужна влага. Ощущение холода превращается в наваждение.

— Виржини, ты очнулась?

— Да.

— Как ты пробралась в резиденцию?

— Я в пять утра села в «Евростар» в Париже, потом приехала сюда на такси и ждала за оградой, когда детей начнут развозить в школы.

— Ты не боялась, что тебя схватят?

— Все так суетились… что никто не обратил на меня внимания.

Вспышка света рассеивает темноту. Яркий луч вырезает прямоугольник стены перед нами. Я не сразу понимаю, что происходит. Дверь открывается, появляется тень, и я слышу звяканье стекла. Дверь захлопывается. Снова наступает кромеш-

ная тьма. Проходит несколько секунд.

— Ты видела?

— Видела.

За это короткое время мне удалось оценить размер помещения, в котором мы находимся. Оно большое, как спальня моих хозяев. Я иду к двери. Ищу поднос и, найдя, сразу хватаю стакан с водой. Виржини обойдется, а мне нельзя отходить от двери. Я пью воду так, словно делаю это впервые в жизни. Каждый глоток для меня — как живительный дождь. Огонь в горле утихает. Страх мучений исчезает. Какое блаженство! Мне хочется обниматься, любить, смеяться. В кармане — моя заколка. Моя жизнь зависит только от нее. Я вожу пальцами по двери там, где должен быть замок. Ничего. Начинаю снова, осторожно расширяя зону поиска. Нашла: он оказался ближе к центру двери. Вставляю свою отмычку как можно бережней, мне трудно контролировать собственные движения, я дрожу от холода. Проталкиваю заколку, немного выжидаю, потом проталкиваю снова. Виржини спрашивает, что я делаю. Раздается какой-то треск. О черт! Заколка сломалась. Пополам. Я падаю наземь. Слова Виржини раздаются у меня в голове: «Они хотели девушку, оказавшуюся в полном дерьме».

Я плачу. Плачу из-за всего, что на меня свалилось, из-за своих идиотских мечтаний, из-за своей наивности. Кем я себя возомнила? Будущей журналисткой? Бедная дура! И родители это понимали, они вроде как отпустили меня, а на самом деле просто махнули на меня рукой. А я ничего не заметила. Я была так горда, когда забирала в мэрии свое новенькое удостоверение личности. Ключ к свободе, маленькая книжечка с красивой фотографией внутри, обещание другой жизни, полной приключений. А теперь я в плену, под замком. В котором доме из пяти? У моих хозяев нет подвала. У соседей? Или в пятом особняке? Воздух здесь ледяной, — возможно, я права. Это воздух дома, где никто не живет и где обогревается только один этаж. Черт! Черт! Черт! Я спрашиваю:

— Виржини, у тебя есть с собой удостоверение личности?

Она не отвечает. Что с ней? Я встаю и подхожу к скамейке. Она снова заснула. Роюсь в карманах ее джинсов. Спереди — ничего. Карточка должна быть у нее в сумке, но они наверняка ее забрали. Я проверяю жилетку. В единственном кармане лежит носовой платок. Решаюсь повернуть Виржини на бок и похлопываю по задним карманам.

Под джинсовой тканью чувствую очертания прямоугольника. Это ее удостоверение личности. Вытаскиваю его.

Им нужна была девушка, оказавшаяся в полном дерьме? Отлично, ведь девушкам в полном дерьме терять нечего.

Я складываю документ пополам, чтобы он стал тверже, просовываю его между дверью и косяком и пытаюсь отодвинуть щеколду. Веду им сверху вниз, потом снизу вверх. И прислушиваюсь: должен раздаться щелчок, и тогда замок откроется. На всякий случай толкаю дверь. Она не подается. Я смеюсь. Надо же, теперь я вообразила себя профессиональной взломщицей! Ну что я за ничтожество! Во всем. Но разве это меня удивляет? Нет, в этой истории все неслучайно. Причем с самого начала. Возможно, кто-то за нами наблюдает, сторожит нас. Я прижимаюсь к двери ухом. Снаружи обязательно должны просочиться какие-нибудь звуки. Закрываю глаза, сосредотачиваюсь. Ничего. Неужели там такая же пустота, такая же тьма? Я пытаюсь расслышать хоть что-нибудь через слой древесины. Безнадежное занятие. Тереблю удостоверение здоровой рукой. Представляю себе фото Виржини на нем: строгое лицо без улыбки, волосы связаны в хвост.

Терять мне нечего. Я снова пытаюсь просунуть картонку в щель. На этот раз действую уверенно и не оставляю щеколде выбора. Она отскакивает в сторону, дверь открывается… За дверью так же темно. Я размышляю, теперь нужно действовать быстро. Что, если сейчас кто-нибудь появится? Наклоняюсь и беру второй стакан.

— Виржини?

Меня так и подмывает плеснуть водой ей в лицо, чтобы разбудить окончательно, но я не хочу, чтобы она кричала.

— Виржини, я сейчас смочу тебе лицо водой, не пугайся. Мне надо с тобой поговорить, слушай меня.

Опускаю пальцы в стакан и смачиваю ей виски, шею, губы. Губы холодные, потрескавшиеся.

— Виржини, ты слышишь меня?

Она слабо шевелится.

— Слушай меня внимательно, это важно. Я сейчас отсюда выйду.

Слегка трясу ее, чтобы полностью привести в чувство.

— Эй, ты меня слышишь?

Она вяло тянет меня за свитер и говорит:

— Я думала, что эти деньги меня спасут. Не бросай меня.

Мне ее не жалко. Шепчу ей в ухо свой план — медленно, чтобы она поняла.

— Я на тебя рассчитываю.

Толкаю дверь как можно осторожнее, чтобы она не скрипнула. Стараюсь не дышать. Выхожу из нашей темницы и попадаю в такую же тьму. Руки заменяют мне глаза. Впечатление, что я попала в очень маленький переходный шлюз. Моментально на что-то натыкаюсь и, больно ударившись о лестницу, падаю на четвереньки; в такой позе карабкаюсь наверх. Считаю ступеньки. Они высокие. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать… Мне ясно, что наша темница находится под землей. Наконец вижу полоску света. Она очерчивает контур двери. За дверью люди. Ее нужно всего лишь открыть, но меня охватывает такой ужас, что я готова развернуться, сбежать вниз и закрыться в своем подземелье, чтобы не знать, чтобы не встречаться с ними лицом к лицу. Я стою на четвереньках, застыв на верху лестницы. Внезапно до меня доносятся какие-то звуки, голоса. Люди разговаривают, но я не улавливаю, веселый это разговор или серьезный. Где они нас заперли? Что хотят с нами сделать? Я встаю и открываю дверь.

Меня сразу оглушает запах. Запах Моники и Джеймса, их чистящих средств, которыми я пользуюсь ежедневно вот уже четыре месяца: здесь пахнет чистотой. Этого не может быть — неужели я у них в доме?! Открываю дверь немного шире. И вижу кладовую: это обычная комната, где хранятся консервы, бутылки, рулоны бумажных полотенец… Мне незачем было сюда заходить: в кухне всегда всего полно, так же как и в ванной комнате, и в прачечной. Я закрываю потайную дверь — никогда ее раньше не видела: она скрыта за той, что из коридора ведет в кладовую. Какое коварство! Я уже в коридоре, голоса становятся четче, но слов пока не разобрать. Смотрю на себя в зеркало. Мое лицо — запекшийся струп, сквозь который просачивается свежая кровь. На шее отвратительный бугор. Приглядываюсь повнимательнее: похоже, лопнул какой-то крупный сосуд. Кровь блестит на ране, я дотрагиваюсь до нее. Выгляжу я жутко, но мне плевать, страх переполняет меня и толкает вперед. Я провожу пальцами по белой стене, которая держала меня в плену многие недели, — на ней остается ярко-красный неровный след. Я отлично знаю, что эти следы не исчезнут, что меня никогда не попросят их оттереть: больше никаких ведер и тряпок!

Кровавая полоса — это знак их позора и конца их власти.

Я рядом с гостиной, голоса все яснее:

— Нам надо решаться. Что будем с ними делать?

Узнаю голос Моники. Лайза уверенно отвечает:

— От Виржини нужно избавиться. Она вернулась за Саймоном, нарушила договор. Она слишком опасна…

Ее перебивает другой голос:

— Хорошо, избавимся, но каким образом?

Это Ева? Наступает молчание. Неужели в евангелии от Уайтов предусмотрено убийство, причем убийство умышленное? Как они оправдаются за это перед Богом?

— Кто голосует за устранение проблемы с Виржини?

Это голос Митчела. Мне кажется, я ослышалась! Значит, он взял дело в свои руки. Как страшно!

— Итак, большинство. Я запишу это в книге. Детали обсудим позже.

— А Эммилу? — спрашивает мужской голос.

Митчел отвечает:

— Ее присутствие пробило брешь в нашем единстве, ее тень проникла туда, где может обитать только чистота нашей веры. Мы все ощутили результат этого осквернения. И должны признать

этот опыт напоминанием о нашей уязвимости, предупреждением.

Я узнаю тон проповедника — тот самый, из книги исповедей. Уж не Митчел ли автор молитв, евангелист их общины? Куда делся симпатичный сосед с его современными взглядами? Он продолжает:

— Мы не можем ее освободить, она носит вашего ребенка и слишком много знает. Выйдя из резиденции, она подвергнет опасности нашу общину, и в результате мы потеряем потомка. Эммилу надо держать под замком. Свяжем ее, будем по очереди сторожить и присматривать за ней оставшиеся шесть месяцев. Мы обязаны исполнить Божий замысел и довести его до конца. Господь предоставил нам второй шанс, и мы должны доказать, что достойны этого.

Митчел закончил свою проповедь. Он все сказал предельно ясно — прямо как нудный учитель катехизиса. Из них всех он особенно меня пугает.

Я подхожу ближе к центральному месту действия. Каждый шаг дается с трудом. Мне одновременно хочется и узнать, и сбежать, и посмотреть на них, и спрятаться… я хочу все и не хочу ничего. Я наблюдаю за ними в приоткрытую дверь.

Они все здесь. Единая крепкая семья, уверенная в своем праве, полная решимости выполнить свое предназначение. Митчел, в серой рубашке, застегнутой до самого подбородка, с суровым выражением лица стоит около телевизора. Холли расположилась рядом с ним, прислонившись к стене. Она решительно сложила руки на груди и больше не кажется жизнерадостной, несмотря на пестроту в одежде. Моника и Джеймс сидят на диване, держась за руки; они у себя дома, поэтому занимают лучшие места. Сегодня они одеты одинаково, в иссиня-черный цвет. Ева устроилась на подлокотнике дивана, она выглядит еще более тощей, чем раньше; одной рукой она машинально приглаживает свои и без того прямые волосы. Джон стоит посреди комнаты — этакий семейный доктор. Дэвид и Лайза притулились бок о бок у эркерного окна, как двое старых облезлых попугайчиков. Подумать только, я всем этим людям завидовала…

У Холли лицо пепельно-серое. Она делает шаг вперед и указывает на Монику.

— Если бы не она, ничего бы этого не было! Это все она! — кричит Холли.

Все замирают. Митчел устремляет на нее холодный взгляд без намека на любовь.

— Это она нарушила договор, отправив Виржини домой. Ревность ослепила ее, она поддалась чувству мести и поставила под угрозу всю семью, лишь бы утолить свою ненависть!

Моника смотрит на нее в упор, надменно и невозмутимо. Впивается злым взглядом прямо в глаза Холли:

— Ревность? Да как ты можешь меня судить? Ты тоже ее испытала. Тебе не понравилось, но выбора не было. И ты давишься ею ежедневно, за каждой трапезой. Ну как, ты сыта, Холли? Нет, конечно, потому что объект твоей страсти и так прикован к тебе цепью на всю жизнь, а это — ревность навеки.

Моника торжествует. Митчел не двигается. Джеймс устало говорит Монике:

— Пожалуйста, веди себя достойно.

Но Монике плевать. Она продолжает:

— Тебе достались объедки, Холли. Бедный Митчел — он любит другую, но получил кузину в качестве, так сказать, утешительного приза. Кузину, неспособную к деторождению. Когда на тебе лежит проклятие…

Митчел делает шаг к Монике. Кажется, гнев в нем копился годами. Однако сейчас он — сплошное разочарование и горе. Он говорит негромко

и спокойно:

— Моника, пожалуйста, не береди старую рану.

Но это еще не конец. В дуэли всегда есть проигравший, есть серьезно раненный, есть умирающий. Холли явно хочет ранить и потому объявляет:

— По крайней мере, я не трахаю своего брата.

Это замечание шокирует все семейство Уайт — то ли своей вульгарностью, то ли жестокостью.

Моника улыбается:

— Однако твой Митчел мечтал трахать свою сестру. Но родители выбрали младшего вместо старшего, Джеймса вместо Митчела. Реджинальд и Эйлин, папа и мама, да будет исполнена ваша воля сохранить чистоту нашей семьи!

В конце своего монолога Моника начинает плакать. Стена злобы, которой она отгородилась, рушится. Я помню этот плач: точно так же она рыдала за перегородкой, отделяющей ее комнату от моей. Какой человек способен вынести это безумие? Джеймс и Моника, брат и сестра, соединенные родительской волей. И Митчел, разочарованный старший брат.

Я цепляюсь за стену, чтобы не упасть. Я уже не в состоянии завершить путь, который привел

меня сюда. Кому я могу это рассказать? Кто мне поверит?

Митчел говорит Монике:

— Пожалуйста, прояви уважение к моей жене. Когда Льюис заболел, это я проектировал наши дома, это я распланировал и освятил «Хидден-Гроув», это я придумал, как влить новую кровь в наши жилы, и это я спасу наше потомство. Однажды наши родители вернутся к нам. Мы снова будем полностью достойны своего имени и их уважения.

Несчастный любящий сын нашел свою роль в семье, возложил на себя миссию, в которую по-настоящему уверовал. Митчел… Я снова думаю об этимологии его имени, которое мне так нравилось: «Михаэль» на иврите значит «Богоподобный». Митчел, вождь всех ангелов. Отличный компаньон для барбекю, добрый дух резиденции. Парень явно возомнил себя богом. Митчел, вождь всех темных сил. Слово берет Ева, и ее тонкий голосок напоминает птичье щебетание:

— Митчел, неужели ты воображаешь себя добрым самаритянином, спасителем? И сколько нам стоит это спасение? У Дэвида и Лайзы ты тоже вымогаешь деньги? Тридцать, сорок тысяч фунтов за молчание — так-то ты уже много лет

защищаешь нашу общину? Джеймс и Моника, вы тоже вносили свою долю наличными? И год от года она все увеличивалась, потому что, мол, хранить тайну становилось все труднее?

Митчел смотрит на Еву. Без тени смущения.

Они замечают меня не сразу. Мои окровавленные пальцы сжимают белые спинки стульев вокруг стола. Я помечаю обстановку в доме этих душевнобольных. Мы больше не притворяемся. Я продолжаю идти вперед. Поглаживаю скатерть — теперь она тоже безнадежно испорчена. Им нужна была свежая кровь. Я придаю их миру тот цвет, которого они заслуживают: цвет засохшей крови. Наконец попадаю в поле зрения Джеймса, и он теряет дар речи, только поднимает руку и указывает на меня пальцем. Холли оборачивается и ахает. Моника, у которой свое понятие о приоритетах, вскрикивает:

— Моя скатерть!

Я подхожу к ним, они отшатываются. Думаю, мое разорванное, покрытое струпьями лицо вызывает у них отвращение. В подвале, куда они меня упрятали, моего уродства не было видно, но здесь, при свете дня, оно их пугает. Чего я жду? Раскаяния? Извинений? Ничего. Править балом теперь буду я. Мне даже не нужно говорить, я хочу просто наводить на них ужас. Ева вжалась в диван, прикрыла рот рукой. Дэвид и Лайза в легкой панике — воробышков застали врасплох. Я провожу рукой по шее — там, где кровь еще свежая. Митчел пятится, это меня успокаивает:

значит что-то на него все-таки действует. С их стороны — страх, неизвестность. Я счастлива, что они это осознают. Протягиваю к ним окровавленную руку, тихонько делаю шаг вперед, и они снова отступают. Внезапно посреди этого ледяного, тяжелого молчания раздается стук.

Тук-тук… Виржини сделала то, о чем я ее просила! Два удара во входную дверь. Она поняла мой план. Два удара подразумевают: «Я нашла пульт управления и сейчас открою ворота». Бросаюсь в прихожую. Дверь распахнута настежь. На полу вижу кучу сумок, которые она перерыла в поисках пульта. Виржини уже снаружи, она вытягивает руку, и ворота медленно открываются… слишком медленно. Хватаю со столика нож для бумаг. Бегу к своей сообщнице, смотрю, как края из черной стали раздвигаются, и уже мысленно вижу себя за ними. Но тут на Виржини обрушивается Джеймс, и она падает. Он бьет ее кулаком по спине. Жалкая сволочь! К нам бегут остальные, и впереди Митчел.

Иди сюда, мой вождь всех темных сил, я тебя жду.

Опускаю руку в карман и вынимаю разрезной нож. Перехватываю его, как кинжал, и, когда садистская копия бога приближается ко мне, вонзаю прямо ему в глаз.

Митчел с воем падает, зажимая глаз рукой. Джеймс бежит к нему. Ворота полностью открыты. Я поднимаю Виржини, она все еще в шоке от удара.

Приказываю ей:

— Соберись, осталось всего несколько метров.

Створки ворот начинают сходиться. Джеймс кричит в сторону дома:

— Вызовите «скорую»! Митч серьезно ранен! *Seriously injured!*

Джон бросается к ним. Я хватаю Виржини за руку и бегу, она просит отпустить ее и оседает на асфальт. У нее больше нет сил. Бросить ее и спасать собственную жизнь? А разве она это не заслужила? И в эту минуту я мысленно вижу Саймона. Сажусь перед ней на корточки и говорю:

— Виржини, надо бежать. Тогда мы сможем спасти Саймона.

— Эммилу!

Это Холли. Она неподвижно стоит и смотрит на меня. А в руках у нее ружье. Ружье Дэвида и Лайзы, ружье, которое украшало стену их гостиной. И она целится в меня. Я никак не могу связать эту женщину, одетую с богемным шиком, с таким грозным тяжелым оружием. Глаза ее пылают ненавистью. Она хочет отомстить за своего мужа и за годы семейного унижения, молчаливого презрения, затаенного стыда, за все, что она скрывала под ворохом пестрой одежды. Это ее минута славы и власти. Ей нечего терять, я не ношу ее ребенка. Джеймс кричит:

– Noooo, Holly, stoooop![60]

Холли его не слышит, она уже никого не слышит. Я думаю о воротах, которые отрезают меня от свободы. Виржини лежит на земле, свернувшись калачиком. Не надо было ее ждать! Если я побегу, Холли меня убьет, если останусь, то останусь навсегда. Которую из двух смертей выбрать? Я слышу звук, такой знакомый моему уху, — створки ворот соединяются, образуя черную сплошную стену без единой щелки, идеальное ограждение от мира. Успокаивающая и удушающая музыка «Хидден-Гроув».

Мы все застыли в гробовом молчании. Ждем развязки. И тут воздух разрывает резкий звук сирены. Звук приближается. Джеймс кричит членам своей семьи, рассыпавшимся по центральной площадке резиденции:

— «Скорая» едет! Открывайте ворота!

Холли не опускает ружье. В своем хипповом прикиде и с грозным оружием в руках она выглядит безумной. Ворота снова открываются, но я уже не верю в наше освобождение. Санитары подчиняются им целиком и полностью (и наверняка небескорыстно); врачи готовы посадить

---

[60] Сноски: 60
Нет, Холли, не надо! *(англ.)*

бунтовщиков под замок — все это я уже знаю. И не двигаюсь. Появляется машина «скорой помощи». Холли направляется к ней. Теперь у нее новая цель. Я оборачиваюсь. Зажженные фары пронзают сумерки. Эти подонки снова выйдут сухими из воды. Джеймс бежит к автомобилю и показывает на Митчела, лежащего на земле:

– *Take care of my brother!*[61]

От прежнего обаяния не осталось и следа, его лицо словно пожирает какая-то нечисть, невидимая, безжалостная, а имя ей — паника. Обессиленный Митчел лежит на земле, прикрыв рукой глазницу. Кровь сочится у него между пальцев. Но за «скорой» стоит еще один автомобиль: белый фургон. С надписью «Полиция». Я ничего не понимаю. Дверцы распахиваются, из машины выходят трое полицейских. Вооруженных. Они наставляют на всех нас пистолеты, и я не знаю, кто их мишень. Один из них приказывает Холли опустить ружье. Она с горящим взглядом снова направляет дуло на меня. Моника сбегает с крыльца и устремляется к Холли. Она в ужасе, но боится, разумеется, не за меня, а за своего ребенка. Я точно это знаю. Либо она, либо я.

---

[61] Сноски: 61
Позаботьтесь о моем брате! *(англ.)*

И я делаю выбор.

Она.

Кричу:

– *Watch out!* Осторожно, Холли! Сзади!

Жена Митчела оборачивается… выстрел раздается словно бы сам собой. Моника падает.

Виржини хватает меня за ногу и плачет. Я не в силах ее утешить. Джеймс вскрикивает и бросается к жене. Полицейские держат всех под прицелом. Внезапно из дома хозяев выходит Кристина. В вечерних сумерках, в черной одежде и с черными волосами, она похожа на печального ангела. Все смотрят на нее. Она подходит и обнимает меня. Я спрашиваю:

— Ты позвонила моим родителям?

Полицейский что-то кричит санитару. Тот приближается к Виржини, помогает ей подняться и закутывает в термоодеяло сначала ее, а потом меня. Нас обеих провожают к машине «скорой». Мы с Виржини прижимаемся друг к дружке. Я смотрю на полицейских. Один из них хватает Джеймса за руки и надевает на них наручники. Мой бывший хозяин не сопротивляется, для него уже все кончено. Затем полицейский перешагивает через лежащего Митчела — сейчас не до него. Вскинув пистолет, он направляется к Холли.

На его приказ положить ружье она кричит:

— Вашу мать!.. Да займитесь же наконец моим мужем!

Полицейский, воспользовавшись этим взрывом ярости, валит Холли на землю и обезоруживает.

Значит, иногда и богатым не подчиняются.

Я чувствую присутствие Виржини, ее дыхание — словно лезвие бритвы в морозном воздухе. От нее разит паникой. Я чувствую руку на своей спине — большую, твердую, теплую. Мой отец. Большой, широкоплечий — он выглядит совершенно потерянным; от былой уверенности главы семьи не осталось и следа — я никогда не видела его таким.

Полицейские сажают Уайтов в свой фургон. Митчела кладут на носилки и несут в «скорую». Туда же кладут в черном мешке и Монику в ее последнем вечернем платье. Я иду к полицейскому, указываю на особняк своих хозяев и пытаюсь объясниться. Он жестом велит мне заходить в дом.

Саймон спит на спине с открытым ртом, сжав кулачки. Я беру его на руки, укутываю в кашемировый плед. И спускаюсь с этой лестницы в последний раз в своей жизни, зная, что не забуду ни одну из этих ступенек, что навсегда запомню их количество, их форму, их музыку. Захлопываю за собой дверь. В последний раз. Чудовища схвачены, но страх все еще жив, и память о нем сильна, как и он сам. Виржини видит Саймона и бежит к нам; я прощаю ей эту любовь, которой сама еще не испытала, но полагаю прекрасной. Передаю ей ребенка. Она прижимает к себе его сонное тельце. На «Хидден-Гроув» впервые снизошла невинность.

Мой папа. Не могу поверить, что вот он стоит передо мной, горбится — это его привычная поза, ведь всю свою жизнь он выращивал устриц в садках. Он до сих пор не произнес ни слова. Только молча разглядывал высокие дома, большие автомобили, стройные деревья и кровь Моники на асфальте. Он ошеломлен. Чувствует ли он, как мне перед ним стыдно?

«Не забывай». За моей спиной раздается голос, который я люблю. Оборачиваюсь — это Моргана. Она говорит мне: «К какому бы решению ты ни пришла, ты больше не будешь одна». Мы никогда не были так близки с тех пор, как она умерла. Я хочу прикоснуться к ней, обнять, поблагодарить, рассказать о своей боли, о том, как пугают меня предстоящие недели. Смогу ли я сделать аборт? Или я должна оставить ребенка? Моего ребенка? Я почти не смею так думать. Моргана исчезает, уходит, унося с собой целые куски моей жизни, моего детства, и я должна принять эту новую боль. Сулящую мне освобождение.

— Эммилу, дочка!

Отец никогда не называл меня так.

— Дочка…

Нет больше застенчивости, зато есть любовь.

Плуэрнек, среда, 14 августа 2019 года

Как же я проклинала это место! Как мне хотелось отсюда сбежать! Плуэрнек, затерянная приморская бретонская деревня, вдали от больших городов и великих предназначений, с домишками, прилепившимися друг к другу, и простыми людьми, которые держатся вместе… хорошими людьми, среди которых и моя семья. Вот он, настоящий высший свет. Никогда бы не подумала, что захочу сюда вернуться, что мне понравится смотреть, как дети бегают по мелководью, ныряют в прохладные волны, играют в волейбол и даже в дождь устраивают пикники. В сорок один год ты уже знаешь, на что способна жизнь, знаешь, что счастье — это радость, рассыпанная сотней камушков, которые подбираешь при каждой возможности. Не все эти камушки драгоценны, но попадаются и такие, и нужно уметь их распознать. Только не надо бояться перебирать и выбирать.

Через несколько дней я возвращаюсь к работе. Я веду страницу в социальной сети одной крупной французской ежедневной газеты. Обожаю свою профессию! Обожаю брать интервью у обычных людей, с которыми произошли необычные исто-

рии. Я с первой же попытки прошла по конкурсу на факультет журналистики, получив высшие баллы за все… кроме английского. И перебралась в Париж, потому что это единственное место, где я чувствую себя в безопасности. Мне нравится ощущение затерянности среди улиц, я хочу смешаться с толпой и не встречать знакомых лиц. Хочу быть свободной.

— Мама, иди искупайся, в воде так хорошо!

Саймон — красивый парень. Ему двадцать пять лет, он выглядит как местный — крепкий, спортивный. Виржини растила его в Плуэрнеке одна, хотя и ощущала постоянно присутствие в их маленькой семье кое-кого третьего. Потому что Саймон очень похож на своего отца. На отца, встречи с которым он упорно избегает и которого никогда не видел.

Когда Саймону исполнилось двадцать, он попросил меня рассказать ему историю «Хидден-Гроув». Задавать вопросы матери он не хотел… не мог. Я его прекрасно поняла и рассказала обо всем, не задев Виржини ни единым плохим словом; я уже давно справилась с гневом, да и время сделало свое дело. Я описала факты, опустив самые гнусные подробности. Саймона интересовали приговоры, наказания. Его отец получил

двадцать один год тюрьмы, так же как Митчел и все остальные мужчины этой семьи. Их освободят в будущем году. Холли приговорили к двадцати годам за соучастие в незаконном лишении свободы, в изнасилованиях и в непредумышленном убийстве. Ева и Лайза получили по двенадцать лет. Сейчас они уже на свободе. Реджинальд и Эйлин, родители Джеймса и Моники, умерли через несколько недель после суда. Вроде бы от горя. Саймон также просил рассказать ему о Льюисе. Он не забыл, что у него был брат; он его не помнит, однако же часто думает о нем. Я собрала все свои радостные воспоминания о Льюисе — их набралось не много — и подарила Саймону. Я никогда не говорила ему, что Джеймс и Моника позволили умереть своему старшему сыну, что не лечили его, исполняя Божью волю и полагая страдание ниспосланным испытанием и духовным очищением.

Каждый новый день мне приходится строить с нуля. Преодолевать последствия жестокости, наркотических кошмаров, изнасилований, всего ужаса этих ста двадцати шести дней в Англии. Я чувствую себя просто выжившей, и мне не за что благодарить Бога.

Я часто думаю об Ирине, Доре, Кристине и

Нэле. О моих сестрах по несчастью. На суде я узнала, что Ирина умерла спустя несколько дней после того, как узнала о своей беременности. Она выпала из окна комнаты, нашей комнаты. Ее череп раскололся о плиты террасы. Из суеверных соображений община похоронила ее в саду моих хозяев. Так Джеймс объяснил суду. Я встретилась с родителями Ирины в коридоре Королевского суда и крепко их обняла. Казалось, мы знаем друг друга всю жизнь. Нэла вырастила Эдвидж, к своей великой радости, у себя дома, в Латвии. Она влюбилась, и теперь у ее дочери есть отец. Дори не захотела воспитывать близнецов. Пережитое сломало ее. Она вернулась в Ирландию, и больше я о ней не слышала. Кристина прервала свою беременность. (В Англии еще с 1967 года максимальный срок для аборта больше, чем во Франции: двадцать четыре недели, если беременность угрожает физическому или ментальному здоровью женщины, особенно в случае изнасилования.) Она уехала к себе, в словацкий город Бардейов, и выучилась на ландшафтного дизайнера. Там у нее родился ребенок. Ребенок желанный и любимый.

Я часто представляю себе мою дочь — сейчас ей было бы двадцать два. Я вижу ее — блондинку,

такую же как я; она обожает воду и любит далеко заплывать. Выйдя на берег, она ложится на полотенце рядом со мной, надевает наушники и слушает музыку. Я смотрю на нее, переполняясь любовью к своему ребенку.

— Эммилу!

Саймон вырывает меня из моих фантазий, спрашивая, можно ли ему лечь рядом со мной. Я улыбаюсь и говорю «да».

Соседнее место пустует, и это мой выбор.

Я чувствую умиротворение.

У меня все хорошо, я живу в окружении собственных призраков.

Благодарности

Огромное спасибо:

Вам, читателям и читательницам, за энтузиазм, с которым вы приняли мой роман. С нетерпением жду встречи с вами, чтобы о нем поговорить!

Моим родителям и брату, окружившим меня любовью и доверием и прочитавшим все мои произведения — от «Путешествия в страну конфет», написанного в восемь лет, до «Девушки для услуг».

Жерому, моему супругу, который твердит мне чуть ли не с первого дня нашего знакомства: «Дорогая, я знаю, что ты романистка, ты должна писать!» Иногда к мнению мужа стоит прислушиваться.

Моим обожаемым детям и их записочкам, согревшим мне сердце: «Браво, мама, новая романтистка!» и «Я люблю тебя больше всей жизни, роботай харашо!».

Моим редакторам в издательстве *Albin Michel*: Анне Павлович, которая верила в меня и в мой проект, и Каролин Риполль, благодаря которой я научилась писать беллетристику, не теряя ни

увлеченности, ни точности в деталях. Я ежедневно радуюсь возможности находиться с ними рядом.

Дельфине Бургуэн, Паскаль Доре и отделу подготовки текстов *Albin Michel* за их невероятно скрупулезную, профессиональную вычитку.

Всем сотрудникам *Albin Michel*, которые с энтузиазмом меня читали, поддерживали и сопровождали на каждом этапе.

Моему агенту и консультанту Аксель Шмитц, которая, читая меня, помогала словами поддержки и фантастической энергией.

Моим друзьям и подругам, которые переживали за меня на протяжении всего этого радостного и полного сомнений пути, часто повторяя магические (и пугающие) слова: «Мне так не терпится тебя прочитать!»